

Калихан ИСКАКОВ

ЛЕГЕНДА О ЗЕМЛЕ БЕЛОВОДЬЕ

Роман

Авторизированный перевод с казахского
Адольфа Арцишевского

Окончание. Начало в №№ 8–11, 2023.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава четвертая

3

В тесное горло единственной улицы втиснуты деревянные столы из досок, над столами – гирлянда лампочек, вдоль столов по обе стороны – скамейки, на которых впритык, один к одному, сидят люди, их лица толком не разглядеть, но, судя по голосам, это сбежавшие из Корбихи погорельцы. Пир стоит горой, будто праздник большой наступил. Люди остались без кола, без двора, без крыши над головой, а смеются и шутят напропалую. Еды перед ними полно, напитки горькие и сладкие льются рекой. Праздные гуляки, да и только! И вдоль пирующих расхаживает Мишель с тетрадкой в руках, наклоняется к каждому, что-то записывает.

Когда он поравнялся с Сигатом, тот жестом остановил его:

– Скажи свое полное имя.

– Мое? Зачем? Оно у меня шибко мудреное, натоцак не выговоришь. Постой, я и сам-то его забываю. Значит, так: мать покойная называла меня Мырзамухаммат.

– Что, если мы вторую половину оставим пророку и будем называть тебя просто – Мырза?

– Зачем? Никто же не поверит!

– Ну, неверяем мы укажем на двери. Лично я зову тебя теперь – Мырза.

– По мне ли такая честь, сумею ли снести?!

Вот ведь как бывает: известный человек лишь пальцем шевельнет – все заметят. А этот бедолага Мишель – Мырза зарезал свою телку, накрыл стол на целую улицу, накормил два аула, а кто-нибудь сказал спасибо? Добавило ль это ему уважения? Да ни боже мой! Как был он для всех Мешел-Мишель, так и остался... А что там у него в тетрадке?

– Вот, смотрите, Серага: кто ягненка пожертвовал, кто поросенка. Есть такие, что не пожалели корову и даже кобылу, – при этом Мишель со значением глянул на Саркыт и Шерубая. – А Шерага не только кобылу притащил с джайляу, но и сабу с кумысом.

С Шерубаем все ясно: хоть кобылу он пожертвует на общий стол, хоть верблюда – все воспримут это как должное. А из каких богатств Саркыт осталась с одной привязью в руках, отдав свою единственную корову-лысуху? Что ни говори, вдовы опять переплюнули всех: сумели разместить целый аул бездомных. А вообще-то народ, привыкший глядеть в рот начальству, поначалу чувствовал себя сиротливо, но увидев Сигата, все приободрились.

– Из руководства совхоза кто-нибудь есть?

Звон посуды утих, смолкли и голоса.

– Да они притаились, – за всех ответил Мишель.

– А кто придумал сбор помощи?

Видно, в голосе Сигата был столь нужный всем начальственный напор, ибо тут же стали искать виновника, и им оказался Мишель.

– Ну, я придумал, – потупился тот.

– И везде-то он нос свой сует. Бедный мой Кобеке!

Сигат резко обернулся на голос: кто бы это мог быть? Асеке, кто ж еще. Ехидно выставив кривой нос, он дымил своей сигаретой.

– Стоит ли так насмешничать? Дело-то благое! – упрекнул остролова Сигат. – Я вот думаю: сам Асеке, на спор хотя бы, смог бы отдать своего скакуна?

– Считайте, что отдал. Ему красная цена – одна тысяча.

– Вот это другой разговор! – Сигат метил, в общем-то, не в Асеке, ему важно было заставить раскошиться тех, кто таится, выжидает, выгадывая: авось пронесет? Но и Асеке каков! Другого такая пуля свалила б на повал, а этот, сбитый влет, упал, будто кошка, на все четыре лапы. Ему всё нипочем! Ну да ладно. – Пожертвования дело хорошее, но на них далеко не уедешь. Что надо нам в первую очередь? Жилье! А это большие деньги. Государство, надеюсь, поможет, а пока... Пока сделаем так: все сто пятьдесят рабочих лесхоза свою зарплату за два месяца вперед внесут в общую кассу. Это первое. Второе: всех вновь прибывших мы обеспечим работой – кого постоянной, кого сезонной, но без работы никто не останется. И третье: если дома будем строить всем миром, то каждый день асара¹ берет на себя одна семья из здешних. Согласны? Есть еще предложения?

– А что с детьми будем делать?

– Школьников – в интернат, малышей – в детсад, расходы на них возьмут на себя профсоюзы. Больным, немощным и престарелым выделяем вот эти три коттеджа. Питание – трехразовое – это лесхоз берет на себя.

– А кривоносые к инвалидам относятся или как? – встрял в разговор Асеке.

– Нос – ладно. Лишь бы мозги набекрень не поехали, – сделал попытку отшутиться Сигат, но Асеке не принял подачки.

– Ну что бы я был без своего носа? А с ним я знаменитость этих мест. Моему носу завидуют. Хотят его украсть. Представь, Ситан, твоей кривой роже да мой кривой нос?

В ответ – взрыв хохота. У людей одно утешение – хоть посмеяться вволю. Абдижапару – он командовал сегодняшним угощением – пришлось прикрикнуть, чтоб унять неуместное, как он считал, веселье. «Уж больно ты грозный, как я погляжу», – подумал Сигат.

К нему вновь протиснулся Мишель с тетрадкой:

– А что будем делать с теми, кто не на учете в лесхозе?

– Они хотят внести свою лепту? Пусть вносят. Дело добровольное.

– Ваш Абеке так и рвется внести две тысячи.

Абдижапар в самый раз на рысях нес блюдо, а в нем – полголовы с подливом. Слова Мишеля будто по макушке хлопнули, Абдижапар резко тормознул, полбашки, лежавшие на блюде, чуть не плюхнулись наземь, подлив пролился, да не куда-нибудь, а за пояс Абдижапару, в штаны, в паху стало тепло и мокро: «Ах ты, мать твою, перемать...»

– Абеке? Две тысячи рублей? Какое благородство!..

¹ Асар – трудовая помощь, обычно в страдную пору.

Мишель стоял с ним рядом, победно размахивал тетрадью:

– Кто хочет его поддержать?

Народ загудел, славословя Абеке. Сам же Абеке, бросив блюдо между Сигатом и Шерубаем, метнул в Мишеля взбешенный взгляд. Какие две тысячи? Да он двух копеек никому не обещал! «Нет, ну так посадить в калошу честного, порядочного человека мог только этот растяпа Мишель», – возмущенно думал Абдижапар, лихорадочно ища лазейку, как бы выскользнуть и ускользнуть.

Но Сигат ловко поддел его за жабры, отрезав путь к отступлению:

– Молодец, Абеке! Это поступок гражданского мужества.

О том, что он гражданин и радетель за общее дело. Абдижапар услышал впервые в жизни. На душе у него кошки скребли, а он вынужден был широко улыбаться, чтоб не ударить в грязь лицом. При этом продолжал лихорадочно просчитывать: с одной стороны – удобный момент прослыть в глазах людей человеком широкой души, заработать авторитет. Но на черта он сдался, этот авторитет, если он стоит целых две тысячи?! Все его метания свел на нет вскочивший вдруг дед Осип.

– Родные вы мои!.. – сказал он прерывающимся голосом и заплакал от переполнивших его чувств. – Хочу помереть среди вас! Нет у меня другой мечты.

– Умереть? Зачем? – удивилась Саркыт. И категорически отвергла мечту деда Осипа. – Ты никому не мешаешь. Крутишься у нас под ногами, и крутишься себе на здоровье!..

– Хватит. Я свое открутился... – старик крепко держался за мечту. – Теперь всё одно: какой толк, что я мельтешусь? Раз нет у меня двух тысяч, чтобы бросить в общий котел, остается одно – помереть.

– Ты, дед, лишнего хватил, – поставил диагноз Жакып, но в то же время в знак уважения вручил старику блюдо, чтоб тот разделал голову. – Давай, работай.

– Погоди, – старик с восторгом осмотрел сидящих за столом, уперся взглядом в Сигата. – Вот с ним вдвоём мы в тридцать втором году многих из вас подобрали на дороге и сюда привезли. Детками малыми вы были. А сейчас у каждого из нас своих деток душ по пять, не меньше будет. И слава Богу! Слава Богу!..

Поскольку аульные бабы меньше пятерых и не рожали, то все в недоумении уставились друг на друга: кого дед имеет в виду?..

– Если б не проклятый Гитлер, мы бы с вами... мы бы с вами горы свернули. Потому что мы все – одна семья, потому что мы вместе...

– Он и вправду горы свернет, дай ему только волю, – Жакып опять поддел Осеке. – Вы не глядите, что ему за восемьдесят. Он тут всех переживет... Это он так, ради красного словца про смерть заговорил.

– А кому охота помирать? – удивился старик. – Собаке и той жить охота, – и он принялся пластать ножом мясо на блюде, раздавая сидящим рядом старухам лакомые куски. – Что за наваждение! Опять всё то же: десять девок – один я. Да девки неказистые какие-то, от них кони шарахаются, не то что мужики.

В общем, поднял себе цену старик: первый парень на селе – да и только!..

Шерубай вполуха слушал его пикировку с бабами. Слова Осипа о былом разбередили память, но и смутили его. Он, никогда не знавший голода, был уверен, что на самые мучительные страдания человека обрекают одиночество и тоска по отчужденному дому. Но от тоски не умирают, а вот голод косил людей повально, собирая кровавую жатву... Отрывки печальной мелодии, царапавшей душу, снова и снова подступали к горлу, пальцы подра-

гивали сами собой будто в поисках свирели. Но это был всё тот же «Сары озен» Саймака, уж столько раз ему опустошавший душу, что не было смысла мучить свирель, повторяться. Было такое ощущение, будто в груди его пропал звук, стало тоскливо и пусто.

– Что, вспомнил свою молодуху, свою красавицу токал? – от вопроса этого он очнулся и вдруг понял, что всё это время не мог оторвать глаз от Саркыт.

– Когда рядом ты, вытащившая меня из могилы, могу ли я думать о токал?

– Эй, что ты выдумал, Шерубай?

– Выдумал?.. «Ну и наградили тебя имечком! Ладно, не горюй. Бывают объедки слаще царского ужина...» И это я выдумал?

– О Господи! Так это вы тот человек...

– «Да хранит вас Аллах, агатай!..» Теперь вспомнила? Ты ведь не только из могилы меня вытащила, ты и душу мою вымолила у Аллаха. Потому и с войны вернулся невредимый.

– Какой срам! А я не узнала тебя, Шерага.

– И немудрено. Ты даже не знала, как меня зовут. Имя у меня ты спросила? Нет.

– Но у тебя что – каменное сердце? Ты молчал почему?

– Жизнь научит молчать. Я вот о чем думаю: меня из могилы вызволила хрупкая девчушка, я и сейчас ее перед глазами вижу. Неужто она превратилась в старуху?

Он и в самом деле какое-то время вглядывался в нее при свете тусклой лампы, пытаясь в этой высокой седой старухе, что сидела, накинув на плечи белую шелковую шаль, увидеть-угадать ту девчушку. Нет-нет, той хрупкой девочки и след простыл. Он видит ее уже лет десять и знает, что она та самая Саркыт, но он и не думал, что будет однажды искать в ней далекий трепетный огонечек молодости. Когда ходил по колону в крови, он вопреки посвисту пуль и грохоту взрывов слышал тоненький хрупкий голосок: «Да хранит вас Аллах, агатай!..» И звуки свирели у его губ тоже были потому так печальны, что в них жил ее голос. И что в итоге? Этот белый призрак, эта старуха, будто каменное изваяние. Где она, та девочка, тот ангел-хранитель? Нет ее, она лишь в памяти, она лишь в прошлом. И осознав это, он сник и постарел, вернувшись снова в свои семьдесят лет. А старуха говорила что-то вполголоса. Он вслушался в ее слова.

– Если бы раньше мне всё это знать...

– Что изменилось бы?

– Я искала тебя всю жизнь.

– Вот и нашла.

– Ну да, нашла в свои пятьдесят семь лет. Чтобы снова остаться одной как ветер в поле. Собачья жизнь.

Сигат, прислушивающийся к разговору, вдруг ощутил тревогу. Кого-то явно не хватало за столом. Кого? Меруерт и Менсулу. Их не было. Гонимый тревогой, он встал и ушел незаметно. И пока он шел к особняку, надменно высившемуся над поселком, его неотступно преследовала мысль о Саркыт. Ему снова увиделась пристань Кызылжара, кишевшая людьми как муравейник. Вспомнился умирающий от голода старик, его слезная просьба: «Забери с собой мою дочь». Вот и забрал ты ее, дух старика едва ли на тебя в претензии. Но чем ее одарил, что ты дал ей? Собачью жизнь?.. Бедные, бедные женщины! За что же судьба так неласкова к вам?..

В доме стояла крошечная тьма. Полоска света, что падала в прорезь шторы, лизнув полированную поверхность стола, резко ударила в глаза.

Как от вспышки молнии, в глазах потемнело, он постоял с минуту, чтобы обрести равновесие, не упасть. Холодильник задрожал, затарахтел и, всхрипнув, отключился. Настенные часы размеренно и громко отстукивали секунды, словно забивали гвозди в ночную немоту пустого дома, где явно не было ни души, кроме только что вошедшего хозяина.

Он включил свет и, прежде чем раздеться, посмотрел на Джамбула:

– Ассалаумагалеюкум, Жаке!..

Жаке был чем-то огорчен. Брови нахмурены, сгорбился, будто мерш-луковый борик для него непомерная тяжесть. Когда он в настроении, его лицо приветливо. Порой он смотрит с укором. Сегодня он даже не отвечает на приветствие. Сигат хотел нагнуться, чтобы снять сапоги, но не смог, прилег на диван. Ему казалось, на улице выл ветер. Потом он понял: кровь шумит в ушах, и звон тишины пустого дома наполняет вселенную гулом. Надо бы выключить свет. Господи, как же вставать неохота!.. Поднимаясь, он заметил лист бумаги на столе.

«Папа! Я устала быть одна в этом доме. Испугалась: если тебя потеряю, одиночество будет полным. О том, что я ушла, не жалею. И не расстраивайся. Ушла я недалеко. Делать свадьбу не надо, сейчас не до этого. Да и радости для тебя будет мало – выдавать единственную дочь за старика, но, кажется, мои тридцать лет не такая уж высокая плата за то, чтобы стать женой сорокадевятилетнего мужчины. Сама едва ли буду счастлива, но, может быть, сумею дать счастье другому человеку. Мне казалось: твое счастье – во мне. И лишь теперь поняла, что надо было уйти лет десять назад. Мне всё думалось, что я тебя жалею, оказалось наоборот: жалел меня ты. Теперь позаботься не обо мне, а о Менсулу и Медете. Твоя единственная дочь, а также дочь Жаке – Меруерт».

Она его успокаивает: не расстраивайся. А чего расстраиваться? Девушка должна уйти к кому-то, дорога должна привести к чему-то – всегда так было. Он даже приободрился вначале, будто гора с плеч. Потом спохватился: что это я? Оказалось, что он сидит и плачет... Он понимал, что дочь ушла не от хорошей жизни. Что ее ждет там? Вряд ли она ушла к любимому. Наверное, ее избранник – достойный человек. Старый холостяк? Едва ли. Всё же ему сорок девять. Он или в разводе, или бобыль. Сигата мучила эта загадка.

– Ну что, Жаке? Опять остались мы вдвоем.

Жаке лишь хмурится, в глазах печаль. Сигат долго слонялся по двум этажам дома, нигде не находя себе места. Опять вернулся к портрету Джамбула: – Что будем делать, Жаке?

А у того на все печали и радости один ответ: «...дети мои!» Сумел он всем нам сказать простое, берущее за сердце слово, ведь человек, кем бы он ни был, создание Божье, сам Господь говорит нам: «...дети мои!» Три года на войне портрет Жаке согревал мне душу, и вот уже несколько лет минуло с тех пор, а он разделяет со мной одиночество, ободрял меня в сорок лет, ободряет и в шестьдесят простым отцовским словом.

...Это случилось на второй год блокады, Сигат как раз стал командиром взвода. Бой шел двое суток, шел почти непрерывно, немцы то выбивали их из первой траншеи, то откатывались назад. Трупы лежали как щит на брустверах траншей и окопов. Взвод Сигата уже потерял пятерых убитыми, десять человек получили тяжелые ранения и были отправлены во второй эшелон. Их оставалось шестнадцать: сам комвзвода, четырнадцать солдат и шестнадцатый он, Жаке. То был удивительный случай, за сорок восемь часов непрерывных атак, бомбежек, артобстрелов портрет Жаке оставался цел и невредим – ни осколком его не задело, ни пулей.

Земля была изрыта взрывами, а на портрете – ни царапины. Он стал для них как берег.

Немцы вновь предприняли комбинированную атаку, когда с неба летят бомбы, по траншее лупят снаряды, а перед тобой земля вскипает танками и пехотой противника. Когда очередная атака немцев захлебнулась, с командного пункта батальона пришел приказ: отступить ко второму эшелону. Врага надо было заставить продвинуться вперед, чтобы обрушить на него всю мощь тяжелой артиллерии. Молодой паренек ленинградец подхватил портрет Жаке и кинулся с ним к Сигату:

– Товарищ лейтенант! Его мы здесь не оставим...

Но тут же упал. Пуля попала ему в затылок. Он был убит наповал. Сигат с трудом разжал его сведенные судорогой руки, чтобы забрать портрет Жаке. В тот день он завернул его вместе с партбилетом и положил в нагрудный карман. Портрет охранял его жизнь. Рядом с ним гибли люди, но Сигат был неуязвим.

Однажды их батальон был отведен с передовой на отдых, и вместе с санитарными частями они закапывали мертвых, осматривали дома в поисках раненых, больных и ослабевших от голода. Объявили воздушную тревогу. Пронзительный вой сирены готов был просверлить макушку. И тут Сигат услышал детский плач. Пришлось завернуть в один из подъездов многоэтажного дома. Он не помнит, на какой этаж поднялся, пиная все двери подряд, но он нашел закутанного в одеяльце годовалого ребенка. Мать лежала на полу, прислонив голову к кровати. Она была мертва. Сигат уже взял ребенка на руки, но в это время окна и двери затрещали, мир вздыбился, послышался скрежет железа, грохот и гул падения, к небу взметнулся столб мусора, пыли и пламени. На какой-то миг он утратил способность видеть и слышать, а когда пришел в себя, то обнаружил, что стоит на искореженной арматуре лестничного марша, чудом зацепившегося за единственный бетонный столб. Дом рухнул, внизу в пыли и копоти лежало то, что осталось от его пяти этажей. Он ощупал прижатого к груди ребенка. Младенец пригрелся в его руках и спал. Машинально он ощупал кармашек, где лежал портрет Жаке. Портрет был тоже цел. Его опять спасло чудо? Или его охранял незримый дух Жаке?

Он выбрался из руин и понес ребенка в детдом.

– Возраст?

– Не знаю.

– Девочка? Мальчик?

– Не знаю.

– Имя?

– Не знаю.

– Адрес, где его подобрали?

– Там бомба взорвалась. Прямое попадание.

Женщине, принимавшей ребенка, не оставалось ничего иного, как переписать все данные из документов Сигата.

– У вас просьба какая-нибудь есть?

– У меня?

– Эвакуировать ребенка или здесь оставить?

– Разве годовалый ребенок выдержит эвакуацию? Вот если я останусь жив...

– Останетесь. Должны остаться. Ребенку и после войны будет нужен отец.

Когда была прорвана блокада Ленинграда, Сигата вновь отозвали в Лесную академию, и он первым делом стал искать тот детский дом. Годо-

валый малыш стал уже двухлетней Миррой Сагатовной Сапаниной. Потом была жизнь. Мира выросла и превратилась в Меруерт. И, засидевшись в девках до тридцати лет, она сбежала замуж, не сказавшись отцу, не предупредив его об этом. Он баловал ее, в шутку звал дочкой Жаке, ни разу не сказал, что неродная. Кроме Жаке, секрет этот не знал никто.

– Ну что, Жаке? Одни мы с тобой остались...

Жаке промолчал. Но улыбнулся... Была у Сигата мечта: коли вернется домой живым, устроить встречу двух Жаке – вот этого, на портрете, прошедшего блокаду, прошедшего войну, и того, великого старца, поэта, человека из легенды. Не успел. Человек, увы, смертен. Сигат ездил к нему на могилу. Хотел передать портрет музею, но раздумал, не музейный это экспонат. Пусть живет в его доме.

4

Когда Сигат, взяв под мышку портрет Жаке, вышел на улицу, уже светало. Тундик¹ Аксу терялся в выси, воздух был увлажнен и прозрачен, мир выглядел обновленным. Свет электролампочек, подвязанных вдоль единственной улицы, бледнел, и – ни души, лишь дворняги, не смея даже рычать, караулили кости, которые остались на скрипучих столах с вечера и до которых собаки добраться не смогли.

И где только все разместились?.. Где бы ни разместились, а с год придется жить, как говорят, в тесноте, да не в обиде. А может, и в тесноте и в обиде. Что делать? До снега осталось два месяца. Если бы за это время поднять стены десятка домов да подвести их под крышу. Потом надо класть печи, а печники перевелись-повымерли. И потом – где брать эти чертовы кирпичи? А может, они не нужны? Что, если из глины сбить русскую печь, ведь целая семья на ней перезимует. От кого это зависит? Да от старика Осипа, один печник остался. Что-то он ослабел в последнее время, хоть бы пожил подольше. Это ж он тогда, в тридцать втором, всем нуждающимся один сбил печи. И всё за так, всё за спасибо. Если подсчитать, что он заработал, но не получил, кругленькая сумма выйдет, на целый колхоз хватило бы.

Такие вот мысли одолевали его, пока он шел через поселок к старому покосившемуся флигелю по-над берегом речки. Хилая хибара, ноги вытянешь – миску собачью заденешь. Кстати, тоже Осип построил: обшил досками, мохом законопатил, сколько уж лет прошло, а ничего – стоит хибара. Они в ней с Осипом вдвоем прожили несколько лет. И теперь тот терем не пустует. Ты тоже хорош, подколот сам себя Сигат, эвон какую женщину запер в такую темницу!..

Менсулу будто ждала его прихода, встретила у дверей. Из комнаты на него пахнуло горячим дыханием, оно исходило не из глубины тесного и теплого жилища, а от нагого тела женщины, как бы плавающего внутри тонкого шелка ночнушки. Сигата будто ударило током, вопреки усталости он весь напрягся, но он остановил мягкие руки женщины, расстегивающие его пиджак:

– Сперва найди место Жаке, – и подал ей тяжеленную раму. – Я теперь из этого дома, даже гнать будут, не уйду.

Он глянул на потолок, и у него было такое ощущение, будто он нахлобучил на себя старую фуражку. Менсулу оробела, словно перед ней был

¹ Квадратная кошма, покрывающая в верхней части юрты отверстие, служащее для выхода дыма и проникновения света.

не портрет Жаке, а сам оживший старец, и это ему надо было определить место в доме. Она в сомнении смотрела на Сигата, как бы спрашивая: что бы всё это значило? Но лицо его было невозмутимым, по лицу она ничего не могла прочесть и, подняв Жаке, ушла в горницу.

Когда она вернулась, гость уже прилег на диван, сняв верхнюю одежду. Он осунулся и был как бы меньше ростом. Глядя в выцветающие стекла окна, в которое сочился рассвет, он вздохнул:

– Так хочется забыться и уснуть...

Менсулу привыкла к тому, что он, придя вечером, уходил на рассвете. Сегодня всё не так: он пришел на рассвете и уходить не хочет, а желает лечь спать. Ее бедная сиротская душа, привыкшая ночью принимать горячие объятия, а под утро оставаться наедине с холодной подушкой, терялась в догадках. Она кинулась было за покрывалом и подушкой, чтобы постелить на диване, но Сигат нехотя махнул рукой, пошел в горницу, которая по вместительству была и спальней. Менсулу так и осталась стоять, обнимая подушку и покрывало, у нее подкосились ноги и ослабели руки. И увидев, как Сигат, прижав к груди Медета, ласкает его, она выронила всё, что держала в руках. Она любила его самоотверженно и безоглядно, но никогда не умоляла, чтобы он стал ее мужем. Возраста его она не замечала, а заботы свои и печали держала при себе, не обременяя ими Сигата... И, как в день их первой близости, она опустилась на кровать и безутешно расплакалась. В тех слезах было всё: и горькое ожидание счастья, которое казалось невозможным, и пронзительная радость, которая наконец-то пришла, и непонятная тревога, и чувство благодарности, и много еще чего, в чем разобраться было невозможно, да и не нужно разбираться. Он не стал уговаривать ее, чтоб не плакала, не отвел в сторону ее руки, обнявшие его вместе с ребенком. Он лежал, ощущая ее желанное тело, и тоже переживал то непростое чувство, которое мы обозначаем словом «счастье».

– А что это за сорокадевятилетний холостяк? Ну, в общем, юноша не старше меня...

– Ой, не знаю, что сказать. Я тут ну никакого участия не принимала. Села она в вертолет и улетела. Это всё, что я видела. Рядом с ней был Калынхан. Она о нем раньше – ни слова, – Менсулу вроде как бы оправдывалась. – А что тут... – она осеклась на полуслове и затаилась от внезапной мысли, вдруг овладевшей ею. – А что тут плохого? Разве я когда-нибудь сетовала на то, что вы старый, а я молодая?

Вот оно как! А он и во внимание не принимал, что Менсулу и Меруерт ровесницы. Посмотри на себя, прежде чем возмущаться чьими-то сорока девятью годами. Он ведь когда встретил Менсулу, испытал досаду и сожаление. «Неужто ты станешь чьей-то женой?» Тогда впервые ему стало горько, что он уже стар. Нет-нет, он не думал за ней волочиться. И когда пригласил ее на работу, то и не рассчитывал даже, что она так легко даст согласие. А странно, почему она предпочла его, старика, молодым парням? И почему никто не перешел ему дорогу? Или испугались ревности многоопытного серэ? Так или иначе, а финал этой истории – вот он, налицо.

– Послушай, родненькая! Со мной всё ясно: я ухватился за тебя из ревности, из нежелания уступать другим. А тебе-то зачем старик?

– А почему вы решили, что я должна была вас уступать кому-то?

Даже так! Для него не было новостью, что он нравится женщинам. Всё начиналось обычно возвышенно и романтично, когда в нем видели рыцаря, заступника чести, достоинства женщины, и казалось банальной интрижкой, когда инстинкты берут верх. Но здесь... здесь было всё иначе.

– Слушай, давай положим этого курносого в манеж.

– Он что – мешает?

– А ты думала, нет?

Менсулу перенесла Медета в манеж и с робкой радостью вернулась к Сигату, но он, не в силах одолеть дрему, уже погружался в глубокий и желанный сон. В какой-то миг он приоткрыл глаза, и ему показалось, что наклонившаяся над ним белая женская фигура – это не реальность, это сон. И в том полусне, в той полуяви он видел не лицо Менсулу, он опять видел белую маску.

Глава пятая

1

Усы травы куренсе стали бордовыми – на Алтае ударили первые заморозки. На солнечной стороне гор было ясно и сухо, а северные склоны смотрелись уже неприветливо и сумрачно. И небо как бы выцвело, и солнце стало скуповатым. Стояла пора увядания, когда небо теряет свой цвет, земля – живительные соки, ветер – пьянящие ароматы.

А Катунь – зимой и летом одним цветом: бурлит, шумит, несется вскачь, сбивает с ног. Бескемпир, у которого во время переправы конь споткнулся и его едва не унесло течением, перебрал все матюки, что знал, пока не выбрался на другой берег. А выбравшись, у реки всё же попросил прощения: «Не сердись ты на меня, грешника! Ну, не сдержался!.. Ну, виноват...»

А Катунь – она и есть Катунь. Что с нее взять? Меньшая сестра Бухтармы, она, поди, не хуже той сосет и Музтау, и вымя неиссякаемых вечных ледников. Меньшие – они всегда непослушливы и своенравны. Не зря со времен незапамятных несет она свой титул – Катунь, Катын¹ – и даже со дна глубокого каньона порой заставляет дрожать вершины Алтая, не в силах унять своей неистовой свирепости. Вот и сейчас она выплескивается из берегов, клокочет, исходит пеной. Не зря, видать, дождь лил всю неделю.

Саврасый пятилетка – ему в уши попала вода – долго не мог прийти в себя. Его пошатывало, кожа нервно вздрагивала, и он всё ржал, обнюхивая вороного.

– Нет, ну совсем сдурел! – Бескемпир сначала ругнул саврасого, потом его хозяина Асеке: – Гнилушка! Когда тебе говорят, держи стремя, нечего ноги поднимать. А если б седло перевернулось – твои кости знаешь где вылавливать бы пришлось? В Бие! А потом тащить их в твой Туркестан... Всё из-за того, что за тобой следил, о тебе тревожился.

«...И сам чуть коньки не отбросил», – подумал о нем Асеке. Пес его знает, кто из них мягкий мел, а кто – твердый камень. Скорей всего один другого стоит. Асеке даже не прислушивался к крикам Бескемпиря, не до того было. И он ни разу не оглянулся назад, даже когда услышал со спины пронзительное ржание саврасого. Асеке панически боялся воды, все его помыслы были о том, чтобы выбраться на противоположный берег. Он только-то и запомнил, что грохот воды и фыркание лошади. Он глаз не отрывал от ушей вороного, на котором сидел, дрожа от страха, находясь между жизнью и смертью. И лишь после того, как ступил на землю и понял, что невредим и жив, подумал о Бескемпире: «Елки-палки! Как бы я смотрел в глаза людям, случись с ним беда?!»

А все оттого, что Бескемпир пожалел его.

– На, пересядь на мою лошадь, – предложил он перед переправой. Как ни хорош был саврасый иноходец, но по воде ходил он неважно. Потому-то

¹ Мать (тюркск.).

Бескемпир, похлопав по холке вороного: «Эта божья тварь пловец отличный!» – передал его Асеке. И сейчас, уже на том берегу, он оставил Асеке на вороном, лишь запустил руки в конскую гриву саврасого, висевшую сосульками: – Бедный мой! Я и сам не меньше тебя испугался.

Саврасый, подтянув живот, скорбно вздохнул, глянул на «гнилушку» – хозяина, что как ни в чем не бывало сидел на чужой лошади, и потрусил себе дальше.

– Вот ты не из тех, кого тайга чурается. Лет десять здесь пробыл? А во многих местах не бывал, – сказал Бескемпир. И не смог удержаться, проворчал с досадой: – Да не подгоняй коня! И поводья спусти. Сиди спокойно.

Вообще-то Асеке был не из тех, кому нужны такие советы. Но огрызаться он не стал, понимая, что парень хочет предостеречь его от возможных неожиданностей впереди. Его даже тронула эта забота. Он давно понял, что этот парень – не чета многим таежникам, он чуял в нем родственную душу, и угадывалась схожесть характеров. Оба они были насмешниками, и горькие шутки одного хорошо дополняли соленые остроты другого, служа подливом к их пресной жизни. Вообще-то друзей Асеке избегал. Правда, в последнее время он не чурался общества Мишеля, но по тайге предпочитал ходить с Бескемпиром, признавая в нем равню себе.

В этот раз можно было переехать на тот берег по мосту. Но Бескемпир не хотелось делать крюк, и волей-неволей он загнал Асхата туда, где и в брод-то реку не переходят. То был настоящий шторм реки, слава Богу, он позади. Бескемпир был очень придирчивым парнем, он раздражался от любой беспомощности и тут же начинал ругаться. Но надо отдать должное, в этот раз он ограничился вежливым словом «гнилушка».

Таежная ночь наступила внезапно. Тьма стояла кромешная. Осенний лес сковала немота. От глухой тишины «гнилушке» заложило уши. Он ориентировался лишь по стуку копыт впереди идущего коня, не видя даже силуэта Бескемпира. В какой-то миг ему показалось, что он едет с завязанными глазами, и у него закружилась голова. Подал было голос, но тут же заткнулся, сам себя испугавшись, и счел за лучшее дальше ехать молча. Неудобство лишь одно: он мокрый насквозь, шубу на нем хоть выжимай. И поделом: зачем на ночь глядя понесло в тайгу, он вместе с курами обычно спать ложился. И лишь когда в чащобе промелькнул одинокий огонек, он приободрился.

У костерка, разложенного в ямке, угадывалось три человека. У одного в руках колотушка, у другого – короб, у третьего бадейка для просеивания. На брезентовой подстилке что муравьиная куча – ворох только что сбитых кедровых орехов. У сосны уже стоял завязанный под горло толстенный мешок. Все трое будто намаз совершали, ползая на коленях. И все трое разом вскочили от стука копыт.

Один из них, в ветхой сурочьей шапке, как испуганный верблюд вылупился на Бескемпира:

– О! Никак родня?

– А ты как думал?

– Кто ж еще в такую темень шастать будет? Только ты.

– Да не один. С твоим ангелом-хранителем, – и Бескемпир подбородком повел в сторону «гнилушки», что, скрючившись, восседал на коне.

Асеке по голосу уже узнал своего старого друга-приятеля, этого сволочугу Ситана. Да и Ситан разглядел, что за гости явились, всем своим видом показывая, что не пустить их к костру он не может, но если они ка-

нут в темень – скатертью дорога. Когда пришедшие вошли в круг света, обнаружилось, что от их одежки пар валом валит и что они мокры до нитки. У сурочьей шапки ехидно скривились губы:

– Никак в Катунь искупались?

– Тебе-то что за дело? Ты, поди, и раз в году пяток не мочил – так и ходишь немый! – Бескемпир не глянулось это ехидство. – Ты людей накорми сначала, потом упражняйся в остроумии.

– Ах, накормить! Милости просим, только для вас: копченое казы, кумыс от яловой кобылы...

– Какое у тебя казы, по тебе сразу видно. Согнулся как собака, проглотившая иглу.

Вторым у костра – он с коробом стоял – был тоже член дикой артели шишкарей Патла, табунщик совхоза, обладатель медно-красной бороды. Украшением его зипуна были заплаты, местами похожие на белые проплешины у старой лошади. Одно ухо мерлушковой шапки было лихо загнута вверх, и оттуда выглядывал клоч сивой седины, а это говорило о том, что обладатель той шевелюры полвека уже разменял. Рядом был парень лет тридцати. Ну, это первенец Патлы, он и видом и сутью был копией отца, глаза его поблескивали жадно, как у богатого вора, такие под стать таежной глухомани.

Ситан снял с треноги черный чайник, расстелил у огня салфетку. Из полосатого мешочка, пропахшего кедровой смолой и затвердевшего как жесть, он высыпал хлебную крошку и курт из обрата. Лицо Ситана мало чем отличалось от его полосатого мешка. В щетине реденькой бородки проглядывал рот, похожий на старый колодец в сорной траве по закромам. Губы в трещинах, и под ними торчат изъеденные табаком сурочьи зубы. Глаза потухшие, с набрякшими мешками, в них уже не ехидство, а покорность судьбе и мольбе.

– Ой, братцы! Меня обчистить хватило б одного из вас. Этого-то зачем привел? – повел глазами он на Асеке.

– Можно подумать, ты испугался! – Бескемпир на жалость не купишь. – Ладно прибедаваться-то...

– Я бы прикинулся богатым, было б с чего, – Ситан дал понять, что они с него навару не получают. – Дань многие уже собрали. Ну, если вас объедки устраивают, тогда я молчу.

Чай, заваренный какой-то дьявольской травкой, к тому же был черен как деготь. Глотнув разок-другой, Бескемпир сморщился и бросил алюминиевую кружку чуть ли не в огонь. А Ситан до дна выцедил прокопченный чайник и, жмурясь от наслаждения, долго цедил эти чернила. Пальцы его были шершавыми, в заусеницах, залепленных смолой. Он цеплял ими за сохший курт с краю салфетки и отправлял его в свою волосатую пасть, пока в одиночку не прикончил свое лакомство. Гостям оставалось лишь присутствовать при этом чаепитии хозяина стола. Белосивый и его отпрыск тоже не протянули рук к салфетке. Они сидели себе в сторонке и невозмутимо грызли орехи: зубы щелкали, губы шлепали, и казалось, что у них не рты, а механизмы по лущению орехов.

– О Господи! – недобро покосился на этот спаренный агрегат Бескемпир. – Старческий маразм я видел. А вот люди как впадают в детство, вижу впервые.

Белосивый просыпал орехи из пригоршни, не донеся их до рта, но рот, привыкший всё время работать, продолжал двигаться и вхолостую, требуя пищи. Вообще-то, не говоря о птицах и четвероногих, даже у двуногих, рыскающих по тайге, всё лето рот занят. Эти двое не исключение.

– А где твои лошади?

От окрика Бескемпир белосивый запнулся, перестал жевать, прошамкал невнятное:

– Лежат, наверно, на берегу.

– Ты что, сидишь у костра и задом чуешь, что они лежат на берегу? Если я не оглох, то от самого берега мы даже шороха не слышали!

– Да разве скотина на одном месте будет стоять? Пастбища выжжены и отравлены, – встрял в разговор Ситан. – Скотину и на привязи не удержишь.

– Не болтай! – отшил и его Бескемпир. – Выжжены, отравлены... А отавы? Они в самый раз в октябре зеленеют...

– Тебе-то какое дело до чужих лошадей? Или ты к ним прибавил долю, что осталось от нагаши?

– Давай-давай! Поюмори, может легче станет. Ты-то всю жизнь из мышиной доли добываешь деньги. Заткнулся бы, а то и этого тебя лишат, – и Бескемпир пнул донельзя набитый мешок, прислоненный к сосне, да так пнул, что мешок упал и развязался.

У Ситана горло перехватило от обиды: мешок орехов был добыт трудом, потом и мучениями.

– Ну, кому – львиная доля, а кому и мышиная. Или, по-твоему, я и на эту малость не имею прав? А может, ты завидуешь моим доходам?

– Ой-ой! Можно подумать, он разбогател именно от этого мешка орехов. Да ты гребешь под себя везде, где только можешь! И пока ни копейки ни с кем не поделился. Так вот учти: всё до единого зернышка завтра сдашь в лесхоз. И штраф заплатишь.

– А если не сдам? – начал куражиться Ситан. – Кто этот мешок потащит в лесхоз? Я? Ни за что! Ты? Ну-ка, ну-ка, погляжу я на твои возможности.

– Выселю! – рассвирепел Бескемпир. – К чертовой матери! Хватит. Одним калымщиком меньше будет в округе...

– О! «Выселю». Это вы можете, это у вас в крови. Не на того напал. Моя задница – слышишь? – не сдвинется с места, пока не прогниет то место, где она сидит.

– Да вокруг тебя все давно прогнило! И сам ты смердишь за версту. И всё потомство свое сгноишь, если тебя не пресечь.

И, не имея в запасе других аргументов, Бескемпир стянул сурочью шапку с головы Ситана и стал ее выкручивать, как грешную душу. Хозяин шапки дождался, пока бесноватый иссяк, закончил свою экзекуцию, затем нахлобучил шапку как ни в чем не бывало на свою макушку в жиденьких рыжих волосах.

Теперь Бескемпир, не в силах превозмочь свой гнев, смотрел на Асеке:

– Ты сюда что, на прогулку приехал или как? Ты, по-моему, его искал? Так вот он, пес бешеный, вот он! – и для наглядности Бескемпир, вконец свирепев, ткнул указательным пальцем в Ситана. – С-собака! С-собака!.. – повторил он несколько раз. А потом и вовсе вскочил с места, земля у его ног будто потник всколыхнулась, вздыбилась, поднимая из костра золу и угли. Он готов был затоптать Ситана, стереть в порошок, и как сумасшедший от бессилья ринулся в темноту, распарывая густой кустарник и круша подлесок по пути.

– Кретин, – сказал Ситан, отряхивая золу.

Белосивый с отпрыском, забыв жевать, пошевелились в темноте, поднялись с места, и тот, что моложе, захлопотал, вроде как и в самом деле заторопился посмотреть, где же лошади.

А во всем виновата рабочая юрта, ее недаром называют черной юртой, она не для праздников, а для тяжелых будничных дней. Но Асеке она

с детства запомнилась как наваждение, потому как в черной юрте он мог утолить хоть на минуту свой неиссякаемый голод. Желтый кумыс, его наливали всего полпиалушки, но пить его было блаженством. И таким же блаженством пустому желудку был напоминавший жвачку желтый сушеный творог черных юрт. Казахи давно заметили, отчего всегда возбуждены табунщики, откуда исходит их буйность. От скромной пищи черных юрт. Сегодня черная юрта – шатер лохматой лиственницы: от дождя не укроет и подстилки из хвои под боком нет.

Вернулся Бескемпир. Он заарканил коней, приспособил седло под подушку, потник пустил на подстилку и приказал Асеке раздеться. Он снял с него шубу и начал выбивать о сосну. Он выбивал ее до тех пор, пока не отсушил себе руки. Потом стянул с Асеке и нижнее белье, накрыв его голого влажной шубой. Тот подскочил, как ужаленный, от укулов щетинок, воткнувшихся иглами в голое тело.

– Неженка! – проворчал Бескемпир. – Шерсть она и есть шерсть. Вон первых, разогреешься от ворса, а во-вторых, будешь ворочаться, ворошить шерстинки, вот и высушишь шубу к утру. Тут тебе не город. Тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Спасайся, кто как может, лишь бы не пропасть.

Ситан тоже заботился, как ему не пропасть: набил кедровыми орехами второй мешок, брезент отряхнул, постелил у очага, потом натянул до самых бровей сурочью шапку, опустил ее уши и накрепко завязал тесемки на подбородке, будто ночью мог ударить мороз. Один мешок положил под ноги, другой – под голову, а под бока и поясницу набил хвои для подстилки. Бескемпир эти приготовления ко сну раздражали, но он молчал и лишь хмурился. Потом, чтоб хоть как-то унять раздражение, отвязал грелку, что висела у него на поясе, открыл затычку и подал Асеке:

– На, глотни!.. Да глотни ты, если не хочешь помереть.

Спирт не был разбавлен – все как есть девяносто шесть градусов. Задохнувшись, будто огонь прошел по глотке, хватая ртом воздух, Асеке чуть не отдал концы. Потеряв голос, зевая как рыба, выброшенная на берег, он попросил воды, но Бескемпир в самый раз тоже прикладывался к грелке, причем он заглотнул спирт с такой легкостью, будто это и не спирт вовсе, а масло, он лишь выдохнул с наслаждением. Из под брезента показался волосатый рот Ситана, а следом высунулся и залатанный зад. Ну, волосатый, конечно, тоже приложился бы к грелке, но разве существует в мире справедливость? Нет, и не жди ее! А зад в заплатах, как термометр, следил, чтоб костерок был на уровне – ни больше, ни меньше. Бескемпир, закрутив грелку, раздраженно крикнул, будто собаке бродячей, что жметса у дверей:

– А ну вставай! Слышь? Вставай и потуши костер.

– Туши сам, если надо.

– Я тебе сейчас так поговорю, что своих позабудешь.

– Да медведи бродят. Мало ли что...

– Медведи?! Господи, неужто медведь соблазнится такой падалью, как ты! Туши, говорят, не то пожар случится!

Пока Ситан затапывал угли и заливал водой поленья, Бескемпир не сводил с него глаз. Наконец, волосатый рот, зад в заплатах и сурочья шапка, сжавшись в комок, юркнули вместе с Ситаном под брезент. И лишь после этого Бескемпир прилег на сухой мох под сосной, подложив под голову седло. Бедным казахам, явившимся на белый свет в юрте, первой подстилкой служит циновка из прутьев. Так что их зад отвергает даже пуховую перину, если та имеется в наличии, а если нет ее, то на нет и суда нет – так сойдет, без подстилки. Бескемпир вырос в черной юрте, и вот уж стал главным лесничим одного из отделений лесхоза, достиг, что говорит-

ся, власти, а привычки черной юрты так и остались при нем. Асеке, будто сам он наслаждался комфортом, было жаль прилежного парня, который сунул голову в такой хомут и вынужден теперь забираться в глухие безлюдные места, куда, как в старину говаривали, ворон костей не заносил. Почем ему было знать, что старый холостяк, никогда для собственного блага не сломавший и хворостины, спит и во сне видит дорогу, глухомань и ночи у остывшего костерка.

То ли спирт подействовал, то ли шуба была слишком жаркой, но всё тело горело огнем, дышать стало нечем, и он откинул край шубы на груди. Крошечная тьма в небесах кой-где расступалась, и в те прогалы выглядывали строптивые звезды. Шумнул ветерок, и словно косяк лошадей протоптал. Это с вершин высоких кедрочей посыпались крупные шишки. Слабый ветерок нес запах снега. То был арбузный привкус инея, что предвещало ясный, без единого облачка рассвет. Последние ночи таежной осени были холодны и пугающе странны, будто их опекал сам ангел смерти.

– Это и есть джайляу Таскурке-Сапа, – вздохнул Бескемпир. Видать, и он доил глазами кочевые тучи холодного неба. – Непоседами они были, что ли, наши предки? Это ж надо три дня сюда тащиться, три ночи кемарить кое-как, да не одному, а целому кочевью. И спрашивается: ради чего? В этих дебрях снег стаивает лишь в июле, а зима наступает в августе. Тут даже зверь не задерживается, разве что занесет ненароком какую-нибудь бродячую собаку.

Очевидно, считая, что бродячая собака адресуется лично ему, Ситан шевельнул залатанным задом, буркнул из-под брезента:

– Больно ты умный, как я погляжу. Было б у тебя пять тысяч лошадей, тоже не поместился бы ни в Крыму, ни в Китае, искал бы место для выпаса.

– Не болтай! – у Бескемпера был готов контрдовод. – Всё это приписки.

Сурочья шапка Ситана стремительно выскочила из-под брезента, будто бог весть когда кочевавшие и давно уничтоженные табуны Сапы сейчас, сегодня потравили его посева.

– Ты глянь на них – онемели, сорок лет помалкивали, ни гу-гу, ни звука! А тут разок повалялись там, где лошади Сапы когда-то землю унавозили, и у них языки развязались, – защелкал он, заскрежетал зубами, как хорек. – Только и слышно: Сапа, Сапа! Везде у них Сапа, на всём его клеймо – на земле, на воде, на деревьях и травах. Таскурке – Сапы, Кузганды – тоже Сапы, Сарыалка – Сапы, Текше – Сапы. Считай, и Кокжота его, и Коккалайгыр. И хоть отродье его сослали было куда подальше, так нет – они назад вернулись, заняли места получше, потеплее, посветлее. И всех людей уравнили в ширину и в длину. И тот, кто раньше не мог попасть на порог к биям и судьям, бекам и правителям, тот и теперь не смей переступить порога их щенят, тот и теперь бесправен!

– Бедный ты, бедный! Вечно в тени, вечно тебя затирают...

Асеке, которого, что говорится, медом не корми, дай лишь ринуться в спор, он голыми руками готов огонь разгрести, в этот раз не захотел лезть в свару. Но не подзудить кнутом обоих спорщиков не мог.

– А ты бы его утюгом, да горячим, да по ушам, – сказал он, неизвестно к кому из двоих обращаясь. – А то вас слушать – со скуки сдохнешь.

– Да было б ухо приличным у этой облезлой головы, тогда б другое дело. А то... брось его ухо собаке, она и нюхать не станет.

– Станет, не станет – это ее, собачье, дело. А вот твоя прекрасная сестра и нюхает эти уши, и души в них не чаёт.

Асеке осекся, не стал дальше науськивать, Бескемпир замолчал, делая вид, что уступил сурочьей шапке, Ситан тоже затих, как бы празднуя

победу. А вообще-то Асеке впервые слышал, что этот сволочуга, этот мерин Ситан, готовый чесаться о каждую палку, приходится зятем привереде Бескемпиру, который, кажется, сквозь обувь видит, что у тебя кривые пальцы, и готов тебе это поставить в вину.

Самигу Асеке боготворил. Казалось, он знал ее сто лет, а вот, поди же, новость для него – она сестра Бескемпира. Сперва он растерялся, не находя в ней никакого сходства с Бескемпиром, потом еще раз поразился, что эта красивая, статная женщина досталась такому-то пню, как Ситан. Он словно бы опять ревновал ее к сволочуге Ситану, с которым вот уже десять лет они грызутся, десять лет не в силах избавиться друг от друга, так что в этой вражде они почти что сроднились. «Нет, тут другая порода, тут даже недостатки – и те продолжение достоинств», – сделал он вывод, отмежевав Бескемпира от косяка Ситанов, от их клана. А в конечном счете они родня, и как бы ни лягались и ни зубастились, а всё это вроде привычных приветствий – ну ритуал такой у них. Вот погавкались и вроде успокоились, молча лежат. А может, исподтишка следят друг за другом, выжидают, чтоб снова сцепиться? Сурочья шапка лежит, не шелохнувшись, затаив дыхание, а лицо у Бескемпира окаменело, как у покойника в гробу. И Асеке, получавший всегда удовольствие от науськивания вот такого, теперь сам себя начал грызть...

Ну, жизнь есть жизнь, кого Бог в зятя пошлет, того зятем и назовешь – хоть серого волка, хоть тоже серого козла. И у Асеке в свое время был зять. Справедливости ради надо отметить, что Иранбак хоть и не приходился кровной родней, но приветил его как самого близкого родственника, и дом Иранбака был единственным местом на родине, где Асеке мог приклонить свою голову. И разве забыть Асеке, как, продав коровенку-кормилицу, а это всё, что было у него, Иранбак зашил парню деньги в трусы, чтобы, упаси Господь, не выкрали жулики, и в начале пятидесятых отправил его на учебу. Когда пять лет спустя Асхат приехал за матерью, он увидел зятя белым как лунь стариком. Из ввалившихся его раскосых глаз проглядывали порой лишь искры прежнего упрямства, а так от человека лишь тень осталась: свинцовый рудник наградил его силикозом, намертво зацементировавшим легкие. Он держался, конечно, ни жалоб, ни упреков, но было ясно, что дни его сочтены.

Стоял июль, самая жаркая пора лета, и тесные улочки Шолоктама тонули в пыли. Зять сидел, покачиваясь, под навесом, вокруг него кишмя кишели мухи, он их даже не отгонял.

– О-о, неужто это наш негодник объявился!

Иранбак был рад ему, как своему спасению. Грудь его вздымалась, словно меха, казалось, дышал он не носом, а плечами, грудью, всем телом дышал. И легкие его, которым не нашлось глотка воздуха в этом бездонном мире, гудели, как гудит лютая стужа, что ломится в щели законопаченного окна.

«Наш негодник», – назвал его зять, и это было ему дороже любых других лестных слов, хотя он вмиг почувствовал всю свою низость: за пять лет учебы он и забыл думать о зяте, который, считай что, вывел его в люди. Ах, Асеке, Асеке! Собака, ты и есть собака!..

Не смея сказать, что он приехал за матерью, Асеке целую неделю ходил как в воду опущенный. Ему казалось, за неделю он постарел на целый век, но мудрее не стал, а лишь понял, что никому-то он на белом свете не сможет послужить опорой, и, не зная, чем помочь зятю, как облегчить его участь, чувствовал свое бессилие и мучился. И как ты мог забыть, корил он себя, что здесь прошло твое детство, здесь ты испытал свои первые

горести и радости. Всю неделю пилил он на черной домбре, и домбра, приглушенно исторгая вопли, рычала безутешно.

Мать негодуяюще смотрела на него. Чего ты заживо хоронишь человека, которому и так не по себе? Зять, конечно, всё видел и слышал. Его раскосые глаза смотрели на Асеке с пониманием и теплотой, порой в них вспыхивали озорные искорки. Мол, хватит тебе убиваться, чему быть, того не миновать, а сыграй-ка ты что-нибудь позабористее и повеселее. И он было ударил по струнам, но домбра поперхнулась, потому как была это вовсе и не домбра, а душа самого Асеке.

Зять сделал попытку отвлечь его. Стал расспрашивать: «На работу устроился?» Асеке согласно кивнул головой. Сказал, что женился. И тут же потупился – совестно стало. Не пригласил он никого на свадьбу. Да и свадьбы особой не было. Не стал он устраивать шумихи, как другие, в чьей-то времянке ночку с друзьями-приятелями погудел, и будет. Главное, выбрал девушку, полюбил. Решил, что подойдут они друг другу. Чего еще надо? Теперь вот на сносях она, скоро будет ребенок, а куда его деть? Нужна старуха, нянька. Мать нужна. За ней и приехал. А как сказать? Язык не поворачивается. И снова, зарезав единственную коровенку, истратив пенсию за месяц – других запасов нет – зять пригласил народ на угощение и, сообразив пятьдесят одеял да сто кошм, загрузил их в контейнер и опять проводил Асеке в столицу. Теперь уж в последний раз.

Красное блюдо вечернего солнца было раскалено до предела. И даже прячась на ночь за гору Мынжылки, оно, казалось, не утрачивало ярости и жара. Сверчки сверлят степь своей дрелью, словно хотят просверлить всю землю насквозь. Кажется, это от их сверчания выжженная степь вертится волчком. Грузовая машина, обезумевшая от жары, обжигая колеса горячей дорогой, несется вдаль как угорелая. И крыши Шолактама, дровавшие в полднемном мареве, даже сейчас, под вечер, никак не исчезают с горизонта, и уж давно бы им пора остаться за окоемом, но трубы домов упрямо торчат по-над степью и не уходят с глаз долой.

И вдруг как ястреб на краю земли возникла черная точка. Она приближалась, росла и казалась уже черным пламенем, то стелящимся по земле, то возносящемся к небу. Потом стало ясно, что это и не черное пламя, а черный жеребец, красавец, хвост волнистый, в кольцах грива. Знаменитый жеребец, один не только на весь Шолактама, но и на всю округу. В летних и осенних скачках он брал все призы, и не было ему равных в кокпаре. Походив под седлом, отработав все скачки и празднества, он тощал, теряя силу. Но, откормив мешком пропаренного ячменя, черного дьявола возвращали в косяк, и всех кобылиц, уже покрытых другими жеребцами, он гонял до изнеможения, заставляя опростаться, а потом за неделю всех заново покрывал... И вот бешеный дьявол, стелясь над землей точно черное пламя, догнал машину, остановил. На черном жеребце, как белая сова, сидел, нахохлившись, Иранбак. В руках держал что-то вроде черного соила. Подъехав ближе, он размахнулся, будто хотел кого-то ударить, и кинул соил Асеке, сидевшему в кузове. Тот поймал с лету и увидел, что держит в руках черную домбру. Зять не отличался особыми талантами, но не хуже других мог побренчать на домбре. У зятя не было особо ценных вещей, чтобы оставить на память или завещать в наследство, и он передал Асеке на хранение певчую душу черной домбры. Зять ничего не сказал при этом. Асеке и сказал бы, да не знал, что сказать. На прощание зять глянул изпод белой челки своими раскосыми черными глазами, в которых угасало мерцание жизни, и бросил небрежно:

– Эй, негодник! Как умру, не забудь горсть земли кинуть на могилу.

Вот и всё, вот и сказано слово последнее. И снова черный дьявол, будто сдурел, будто сбесился, летел черным пламенем к горизонту, попирая копытами трубы Шолактама и дрожащие в мареве крыши... Асеке увидел зятя после этого всего один раз. Во сне это было. Будто подъехал он на черном бешеном скакуне к дверям и сказал:

– Ну, прощай, Асеке. Мне пора. Будь здоров.

Через день пришла весть, что зять умер. В ту ночь какой-то дуралей-растяпа выпросил домбру на часок, а наутро вернул ее со сломанным кузовом...

Пока из столицы добирался до Шимкалы, а от Шамкалы до Шолактама, аульчане успели предать тело зятя земле. О, соплеменники! Порой они медлительны и неспешны, будто в запасе у них целая вечность, но когда дело доходит до покойника, они торопятся как можно быстрее закопать его, будто усопший может воскреснуть, встать и уйти, оставив их ни при чем... Асеке не сумел, не успел выполнить последнюю просьбу Иранбека. Зять так и остался в памяти, как белый призрак на черном скакуне, как летящее по-над землею темное племя. После этого он его не видел даже во сне. Одно слово «зять» живет в подкорке, и каждый раз тоскливо замирает сердце, когда узнаешь, что все эти осточертевшие, набившие оскомину ситаны тоже кому-то приходится зятьями, кому-то они мужья, а кому-то – отцы... И сейчас его одолевали противоречивые чувства: хотелось ему пожалеть этого, в сурочьей шапке, что сжался под брезентом как мокрая мышь, и пожалел бы, не будь тот сволочугой Ситаном, с которым у него свои счеты, и это уж, как видно, до гробовой доски. Ну а если отвлечься от частных дел, в принципе, испытывал ли Асеке такие чувства, как жалость, доброта или необходимость быть благодарным кому-то? Сам он ни от кого в этом мире не ждал ни соучастия, ни сочувствия, ни доброты. Урвать себе чего-либо за счет других – ему и в голову не приходило такое. Что у него было? Одежка на нем да единственный конь под ним – и того он стыдился считать своей личной собственностью. Люди, знавшие Асеке, не решались просить у него что бы то ни было – вот уж поистине гол как сокол, во всей его внешности не было даже заплатки лишней.

Сейчас он ехал в поисках единственной кобылы, которую запустил в косяк оленеводческого хозяйства пять лет назад. Не стал бы он искать ту кобылу, но ведь нужда заставила. Дом его был пуст, не то что деньги – тараканы не держались в нем. Нет, в самом деле: попроси у него кто-нибудь взаймы тысячу тараканов, он при всем желании не смог бы одолжить. Но тысячу рублей!.. И надо ж было ему сболтнуть, что он в пожертвование внесет эту самую тысячу! И в тот момент, когда этот долг лишил его сна и покоя, он был ему как гвоздь в ботинке, как бельмо в глазу, в этот самый момент появился Бескемпир. Кассиром пожертвований был он, и когда пораскинули мозгами, посоветовались, на ум только-то и пришла та самая кобыла. А больше и придумать было нечего. И, осознав, насколько он неимущ, сир и беден, мог ли Асеке жалеть Ситана, у которого есть всё: и крыша над головой, и жена, и дети? А сам Асеке уже второй месяц не может выслать матери и своему единственному отпрыску даже тот мизер, который он обычно высылал. Его несчастная головушка не зря нашла приют в глухой тайге, сбжав от всех расчетов и подсчетов денежных, которыми заполнен повседневный быт, но удавка нужды и здесь его настигла. Эх, где же вы, где вы, те далекие беспечные дни, когда времянка на окраине Алма-Аты казалась ханским дворцом, а времянка была, как нора корсака: войдешь передом, выйдешь задом, потому как не развернуться!..

Никого не винит, сам во всем виноват. Но было, было в ней бесовское обаяние, могла она вскружить голову любому мужику и самого стойкого увести за собой на край света. Что-то было такое в ее голосе, в ее манере говорить нараспев, вытянув губы трубочкой, что парни теряли голову. Ее губы были созданы для поцелуев – впрочем, уже два дня спустя для него всё это утратило новизну. Лексей Лексеич, друг закадычный, пять лет они в одной комнате в общежитии обитали, сразу сказал: «Красивая, слов нет. Но – змея. Причем подколодная».

На свадьбу он не пришел, хотя был зван в первую очередь. И вообще, он не переступил порога их временки. А года через два она сумела отвадить и всех остальных его друзей. И остался он в гордом одиночестве, как жеребец кулана после гона. Но рядом была она, губы трубочкой, внимательный и предприимчивый взгляд. За год она не просто изучила Асеке, она выучила его наизусть: его манеры, интонации, его иронию, его слова, его вкусы, пристрастия. Всё взяла у него, всё – кроме сути. То был фальшивый двойник Асеке. Люди стали чувствовать при Асеке неловкость, он сам себя начал стесняться. То была не семейная жизнь, то был нескончаемый диспут, то было состязание в перетягивании каната, то был сплошной спектакль. Был актер-исполнитель, и был его имитатор. Был голос, и было эхо – оно претендовало на первенство в дуэте. Потом появился сын – слава Богу, единственный. Но Эхо не принимало сына в расчет, сын оказался на периферии интересов Эха. Старательно копируя мужа, она возбудила к себе интерес как «женщина особо интеллектуальная». Кого-то она возмущала, кого-то она восхищала. Естественно, что Асеке был не единственной особью мужского пола, достойной подражания. И вот в один из памятных дней она сказала – уйду. Сказала и ушла, оставив в покое мужа. И сына, хотя к нему она особого касательства и не имела, он с самого рождения не знал материнской ласки, был под присмотром бабушки. И слава Богу! Наверное, ей надоела и крохотная квартира-полупорка, которую сумел добиться Асеке, и его зарплата, которой хватало, чтоб свести концы с концами. Она любила давать советы новобранкам и ровесницам: «Мужа надо выбирать не по летам, а по эпохам». И еще: «У молодого много жара, но от него нет навара, а старый хоть и толстоват, зато тароват: у него и машина, и дача, и должность в придачу». Устроилась она лучше некуда – муж был вдвое старше ее. Но судьба оказалась к ней слишком несправедливой: через год она умерла. Асеке сперва не поверил, думал – розыгрыш, думал – неправда. Но, взяв с собой единственного отпрыска, пошел на похороны. Оказалось – не розыгрыш, оказалось, как это ни странно, правда...

С тех пор он холост. Два года подряд возглавлял фольклорную экспедицию по Алтайскому краю. Места понравились. Он в шутку часто говорил: нашлась бы егерская служба, он не уехал бы отсюда ни за что. Но, видно, люди на Алтае плохо понимают шутки: районное начальство приняло его слова всерьез, и в конце экспедиции место егеря было готово, и надо сказать, доставалось оно не вдруг и не каждому. И надо б ему в очередной раз отшутиться. Но тут у него с юмором вышла осечка: он посоветился сказать, что просьба его была своего рода шуткой. А поразмыслив, решил: не всё ли равно, где мыкать холостяцкую долю, перекантуюсь год-другой забавы ради, а там видно будет. И остался. И прикипел душой к Алтаю. А дальше в силу вступила привычка: трудно отказаться от блаженства необъятного мира, которое дарует Алтай, и от мук одиночества, которое дарует егерская служба. Вот так и живет. Потихоньку сочиняет, а сочинив, сам исполняет, сам слушает. Приехал как-то из столицы Лексей Лексеич,

записал на магнитофон несколько его «вещей». Потом они по радио звучали. Вроде неплохо, но... было такое ощущение, что написал это не он, не Асеке, а кто-то на него похожий. Ну, а мелодию горького кюя, который был воплем одинокой, израненной души, никто и не думает связывать с именем егеря, что бродит-скитается по алтайской тайге. Его никто не разыскивает, а сам он отыскиваться не спешил. В столице поговаривали, что он попал в психушку. Ничуть не лучше был и другой слух: Асхата-де съел медведь. Обе версии были приняты за веру и всерьез. А ему и горя мало, пусть себе болтают, что хотят. Он понял главное: надо быть поближе к народу и земле. И он теперь не променяет свою дружбу-вражду с этой сволочугой Ситаном на все столичные блага, на все эти умные споры-разговоры с людьми, в голосах и мыслях которых – справедливо, нет ли? – чудятся ему отголоски фальшивого Эха.

А вообще-то егерское ремесло как будто специально для него и предназначено. И всю-то связь со столицей, все слова приветов он ухитряется уместить на бланке почтового перевода, что регулярно посылает матери и сыну. Правда, те два года, что он провел в Мекке, эта сволочь Ситан за него аккуратно высылал те переводы матери и сыну... И тут мысли его осеклись от неожиданного открытия. Бог ты мой! Сын-то, оказывается, на следующий год кончат школу!.. Если буду поступать в институт, пишет он, то в сельскохозяйственный и только на лесной факультет. Господи, чего он потерял в лесу?

Когда он думает о сыне, весь сон уходит... Говорят, в необъятной степи встретились два казаха и принялись толкать друг друга: «А ну, подвинься!» Вот ведь ненасытная натура, даже одиночеством делиться ни с кем не хочет, даже воздух Алтая готов весь оставить себе. Интересно, есть границы такой пакости, как эгоизм?..

Ни ветра не было, ни рваных туч, что совсем недавно толпились у вершины сосны. Небо очистилось. Мерцали озябшие звезды, как бы проникая в душу, холодя ее. В кисточках хвои на кедровых ветвях, казалось, и без ветра бродит сквознячок, словно здесь затаились грядущие морозные вьюги. Асеке начал было засовывать охолодевшие ладони в рукава короткой шубы, как вдруг совсем рядом затрещало-зашумело, заарканенные лошади испуганно вскинулись, заржал саврасый и начал остервенело бить копытами землю. Асеке приподнял голову. Что-то большое и темное возвышалось у очага, оно тянулось туда, где ноги Ситана, и колдовским образом излучало дикую опасность. Поднялась суматоха. Темная громадина, оглушительно взревев, кинулась прочь и в мгновение ока скрылась. Тревога за саврасого наотмашь ударила Асеке, он вскочил на ноги и в чем мать родила кинулся на ржание, но, споткнувшись, упал, угодив головой в еще горячую золу кострища.

Ситан причитал, чуть не плача:

– У, мать твою, перемать. Унес. Из-под ног выдернул и унес.

– Чего унес?!

– Чего, чего! Мешок с орехами, вот чего.

– Да кто унес-то?

– Медведь, кто ж еще!

Лишь Бескемпир лежал невозмутимо, как будто вся эта история его никак не касалась. Он лишь ругнул Асеке, и то не поднимая головы:

– Не мельтеши как дьявол! Или оденься, или ложись, – и хохотнул лениво: – А медведь молодец. Он не чужое взял, он взял свою законную долю.

Надо же, он еще смеется! Тут пока неизвестно, у всех ли целы руки-ноги, а его смех душил. Асеке никак не мог найти свою черную шубу, только

что им откинутую, и чуть не напоролся на сучок. Лицо мокрое, зад припекло горячими углями, весь в золе и вдобавок – голый. Нет, он чувствовал себя весьма и весьма неуютно. Он с минуту бродил в поисках шубы и вновь упал, столкнувшись нос к носу с какой-то нечистой силой, теперь уже не в черном, а в белом, будто саване. Черт-те что!... Оказалось, это его же исподнее, он его с вечера повесил сушить на сосенку. А шуба как сквозь землю провалилась. Может, надеть нижнее белье? Но оно заледенело, стояло коробом. Нет, одеть его не представлялось возможным. И тогда Асеке, прикрыв рукой срамное место, опять вернулся, согнувшись в три погибели. Угольки костра разгорелись, перед костром на корточках сидел эта сволочь Ситан, взлохмаченный как приبلудный кобель. И нет бы сидел себе тихо, так он начал хохотать как одержимый.

– Ты что – сдурел?

– Со мной всё в порядке. Ты на себя посмотри! Добрые люди в углях кочергой шуруют, а ты – голой задницей, – он, видно, махнул рукой на пропавшие орехи и на то, что остался ни с чем. – Хорошо, что мужик. А был бы бабой? Он бы и тебя прихватил с мешком вместе. Ну, что стоишь? Язык проглотил?

– Шубы нет.

– О, глянь на него – шубу потерял... Пстой, а где моя шапка?

В минуту были найдены и шуба, и сурочья, а главное – вернулся смех. И пусть за него отдали мешок орехов, но ведь не кому-нибудь – законному владельцу, хозяину тайги. И хоть была полночь, но мужики вновь разожгли костер, вновь повесили на треногу прокопченный чайник, и Бескемпир, махнув на всё рукой, притащил к костру заветную грелку, на которую, слава Богу, медведь не позарился.

2

Встав на рассвете, Асеке к обеду выбился из сил, пытаясь выловить из косяка свою вороную кобылу. Лошадь была абсолютно дикой, ее ни касались ни узда, ни лассо, и в дикости своей она могла посоперничать с ночным гостем Ситана бурым медведем – с той лишь разницей, что бурого медведя не надо было ловить. Она их на выстрел не подпускала, чем в первую очередь и выбила из сил. Когда же ее удалось загнать в гущу косяка, она спряталась за здорового рыжего дончака – опять ее не зацепить курыком. Она вытянулась, стала статной, поджарой. Пять лет назад выпущенная в косяк, она обзавелась двумя жеребятами двух и трех лет и стригунком. Все были мастью в нее, вороные, без единого пятнышка, их безукоризненная стать не могла не радовать взгляда. И хоть усталость застила глаза, но Асеке невольно любовался кобылой, и нет-нет, да и приходила неуместная мысль, что кобыла не дала себя поймать. Но эта черная скотина так и подзуживала его, вызывая на дуэль, и он, несмотря на то, что был вымотан вконец, решил отстоять свою честь. Саврасый тоже впервые встретил такое сопротивление и упрямство, он почувствовал настрой хозяина, взвился как смерч, три раза вихрем обошел вокруг скучившегося косяка, загоняя кобылу в тупик, и, грудью разорвав густую толщу табуна, где лошади метались, сталкиваясь друг с другом, как льдины, вылетел прямо напротив стропливой кобылицы. Асеке успел накинуть волосяной аркан на тонкую шею, второй конец веревки он, троекратно обкрутив, закрепил на луке седла и, соскочив с саврасого, дошел до ушей кобылицы, втаптывая в землю аркан. Асеке, не знавший страха с лошадьми, на сей раз побоялся прямо глянуть в глаза вороной, они, готовые выскочить из орбит, налились кровью: де-мол, стоять буду

на смерть, но не дамся. Разгоряченный Асеке вдел аркан в лошадиные губы, завязал недоуздом и снова вскочил на саврасого. Вороная троекратно взвивалась в небо, саврасый троекратно оседал, касаясь земли, но не поддавался ни на шаг. Аркан, как струна домбры на ветру, звенел от натуги: с одного конца упиралась вороная дьяволица, с другой стоял мертво саврасый, и на нем как влитый сидел Асеке. Все трое молчат, все трое будто оцепенели. А чуть поодаль стоят, затаив дыхание, Бескемпир и сволочуга Ситан со своим приспешником табунщиком Патлой. Все трое молчат, все трое тоже оцепенели. Асеке удивился своим коленям: они вошли буквально между ребер саврасого. Всё это длилось мгновение, а казалось – прошел целый год...

Косяк рыжего дончака исчез за бугром. И тут, пронзительно заржав, с холма сбежал вороной стригунок и ткнулся в пах вороной кобылице. Она не шелохнулась. Пронзительно заржав, с холма слетел второй жеребенок. Он подбежал к вороной, застыв как изваяние. Вороная не шелохнулась. Пронзительно заржав, с холма скатился трехгодовалый жеребчик и закружил вокруг кобылы. Но кобыла стояла как скала... Когда три жеребенка все вместе заржали, да так пронзительно, будто кобылу режут у них на глазах, Асеке почувствовал, что у него волосы встали дыбом... Еще мгновение, и он оказался на земле с седлом, у которого лопнула подпруга. А кобыла, всё так же, не шелохнувшись, стояла перед ним и смотрела ненавидяще и гневно: дескать, на – режь. И Асеке, вытащив нож из голенища, полоснул по волосяному аркану недоуздка. Кобыла всё равно не шелохнулась. Саврасый, будто говоря: «Как всё нелепо получилось! Надо хоть понюхать напоследок, как она пахнет», – сгорбившись, подошел к вороной, потерял мордой о морду и, грохнув копытом, ударил разок по земле. Будто по барабану ударил: опять задрожала земля, мгновение-другое, и вот он – с холма несется рыжий дончак...

Асеке так и остался сидеть на корточках. Впервые отвергнутый в своих лучших чувствах лошадьми, их страстный любитель, он был вынужден признать свое поражение. И сразу он почувствовал все невзгоды своих сорока лет, и понял, что этот миг – начало спуска, что перевал позади, что жизнь пошла под уклон. Он смотрел на саврасого. У того в глазах плясал огонь ревности: в пять лет он не сумел переупрямить холеную дьяволицу и покрыть её. У саврасого всё еще впереди. Асеке вздохнул с обидой и грустью, но делать нечего, встал.

– Эй, парень! Свою дьяволицу хоть пристрели, мне всё равно. А вот та вороная двухлетка моя. Пусть она будет платой за мои труды. Всё же пять лет я пас твою кобылу.

Оказалось, торгуется белосивый. Что ж, он вправе, он табунщик... Как бы прося прощения у саврасого, до сих пор не ронявшего своей чести, Асеке погладил его по спине, оседлал.

– Если эту, медведь ее задери, не застрелишь, она к себе ни за что не подпустит.

А это сволочь Ситан. Пожалел...

– Ну-ну, – усмехнулся Бескемпир. – Вам бы только ее пристрелить.

И начались подкальвания, шуточки-прибауточки, и так в издевках друг над другом спустились из Таскурки в Талдыбулак. Разговор всё вертелся вокруг вороной кобылы, вокруг Асеке, его щедрости, хоть нет у него ни копейки, но нашел же выход, чтобы дать на пожертвование тысячу рублей.

Бескемпир искал повод, чтобы сладить дело, он издали начал закидывать удочку:

– А может... имеет смысл кобылу уступить Ситану?

– Ну, так вот сразу! – съязвил Ситан. – Нам надо сначала вдрызг разругаться, а уж потом, глядишь, мы до чего-нибудь договоримся.

У Ситана даже тороки не было, чтобы привьючить единственный мешок, он его разложил на седле, сам взгромоздился сверху и возвышается теперь как на верблюде. Нет, ну пугало пугалом, а туда же – готов насмешничать над людьми.

Река Талдыбулак извивалась змеиными кольцами, текла то вперед, то назад, за два-три километра они ее раз двадцать перешли. И всю дорогу широкобедрая зеленоглазая игренька прямо с недоуздком щипала траву, будто изголодалась вконец, и речку-то она не перейдет, не сделав несколько глотков.

– Вот ведь тварь ненасытная! Жрет как в прорву. И куда всё девается? Ну прямо как наш Асеке, – опять съязвил Ситан.

– Спасибо на добром слове, – откликнулся Асеке. – Мне всё отрадней будет думать, что я кобылу свою отдал не прохиндею, не злыдню, а... – он не выдержал тона, сорвался: – Господи! Ситану ли владеть вороной кобылой!.. Ну отчего к нашему берегу приплывает никудышное дерьмо?

– Да что ты о кобыле так печалишься? Ты лучше посмотри, что творят твои звери в лесу! – осадил его Ситеке. – Пока спал в тепле да сладко ел, бедного Ивана медведь разорвал, четверо детей осталось сиротами.

– Какой Иван?

– А сколько их у тебя, Иванов? Иван Корсанбаев, тот самый, что из Оймана переехал... Да Иван-тракторист!..

– И охота тебе городить понапраслину? – окоротил было его Бескемпир. – Вот если б ты сказал, что Иван медведя съел, я бы поверил, но чтобы медведь напал на Ивана!.. На того самого Ивана, что сбил трактором корову, да так сбил, что ни туши буренки, ни шкуры коровьей найти не смогли. Это ж сколько должен был медведь выпить водки, чтобы так оборзеть?

– Да простит меня покойный, пусть земля ему будет пухом, по части воровства он был дока, – и тут нашелся Ситеке. – А грех не на ком-нибудь, а на его душе! – и, будто пожалев слюны, чтоб плюнуть на виновника, он скорлупу орехов сплюнул сквозь свои сурочьи зубы в затылок Асеке. – И надо же! Выдумал какой-то лимит. Мало того, штрафами застрашал. От хищников уже спасенья нет, а мы не смей их трогать. Медведи стали ценнее, чем люди!

– Ты-то что больше всех причитаешь-печалишься? – Асеке подъехал вплотную к зеленоглазой игренивой и потушил окурочек «Шипки» о мешок Ситана. – Может, он задолжал тебе да не успел вернуть?

– А и пакостный ты мужик! Поди, подыхать будешь, и то воткнешь в зад окурочек, – Ситеке кнутом отряхнул от пепла уголок мешка. – Тебе ль страдать из-за моих долгов. Не говоря об усопшем Иване, ведь и ты, живой, задолжал мне цену семи Коранов. Если тебе совестно хотя бы перед Богом, зайди как-нибудь к вдове Ивана да в счет того, что мне задолжал, подбрось ей денюжат.

– А говорят, мол, грешника, что окочурился от водки, да человека, которого задрал медведь, не отпевают. Правда или нет? – спросил Бескемпир.

– О! И в тебе пробуждается любознательность. Переспал бы ты ночьку рядом с кожа¹, проснулся бы суфием²! – зацепил мимоходом Ситеке своего шурина. – Так вот скажи: кто определял, насколько свят ангел-трез-

¹ Святой человек.

² Человек, приверженный религии.

венник? Пусть даже ангел этот голоса не повышал на хищного зверя... А Иван... Бедный Иван, он был, конечно, не ангел. Но перед Богом – перед Богом он был чист как агнец.

– Короче, как всё там было?

– А вот как. На перевале Унгы стоял чабан Ергали Тырыша. Иван приехал на тракторе помочь перекочевать. Приехал, видно, поздно, потому как эта ломака жена Ергали отказалась разбирать юрту на ночь глядя: за нами, дескать, что – собаки гонятся? Куда такая спешка? И надо же – именно в этот вечер к ним на стоянку забрела медведица с выводком. А Иван, понятное дело, поддал, пьянющий, море ему по колено. Ну он и хлопнул приотставшего медвежонка картечью, да сам и шкуру снял – не пропадать же добру. Ергали и без того пугливый, от окрика жены то и гляди в штаны наложит. А тут он увидел, как Иван с медвежонком управился, и запричитал: пропала моя голова, медведь нас загрызет сегодня ночью. К юрте он и близко не подошел, заночевал в шалаше. А баба его овец караулила. Ночью слышит: треск, грохот, в юрте створки ломают. Она туда. А ей кто-то ка-ак даст по уху! Оказалось – медведь, он скулу ей вывихнул, ему плевать на то, что она баба, что он ей портрет испортил. Ну, в больнице она себе вправила челюсть, говорят, вернулась домой краше прежнего.

Зеленоглазая игрневая так и набросилась на воду, лишь только спустились они к переправе. Ситеке на этот раз снял недоуздок, дал ей напиться вволю. Асеке и Бескемпир уже переправились, стояли на том берегу, поджидая Ситана. А тот, вдруг прекратив свой треп, сидел на лошади, лошадь стояла посредине реки, и Ситан, не отрывая глаз от течения, словно бы оцепенел, разглядывая что-то в ледяной воде. И лишь когда проводил жадным взглядом уплывшую форель, которая огладила хвостом копыта лошади, он поднял голову.

– А что с Иваном-то случилось?

– С Иваном? А что с ним могло случиться? Разорвала его медведица к чертовой матери, вот и всё. Оторвала ему руки, ноги и всё остальное. Ну жена его собрала по частям, а всё остальное найти не смогла. И давай выть-причитать. Так бы, глядишь, никто не узнал про ту кражу медведицы, но жена его так громко голосила, на всю округу было слышно. Бедный, бедный Иван, мало того, что погиб мученической смертью, да еще позор такой на его голову. Это ж всякий дурак теперь зубоскалить будет...

Зеленоглазая игрневая, тяжело вздохнув, вышла на берег, как бы сожалея теперь, что загрузилась под завязку. Они двинулись дальше, и на глазах Ситана никак под впечатлением рассказа блеснула скупая мужская слеза. Тут уж не до зубоскальства, и как бы пытаюсь утешить Ситана, выразить ему соболезнование, Бескемпир спросил у Асхата:

– Господи, неужто медведь такой мстительный? Ведь тьма кромешная, а он напал не на кого-нибудь – на Ивана!

– А по запаху. Она запах детеныша чуюла, и по нему узнала, кто медвежонка убил, – у Асеке наконец-то появилась возможность продемонстрировать свои егерские познания. – Медведи – они такие. Страшнее льва. Этого глаза выдают, сразу видно, когда он свиреп или в гневе. А у медведя по глазам ничего не прочитаешь. Но если ему нанесли обиду, он не забудет никогда и обидчику отомстит.

– Значит, Иван сам виноват, и жалеть его нечего, – сказал Бескемпир.

– Детей, правда, жалко, трудно им будет без отца.

– А ты помоги, ведь всё в твоих руках, – поймал его Ситан на слове.

– Бедная его жена, чтоб быть подпоркой беспутному мужу и хоть как-то

кормить пятерых детей, числилась в лесхозе, чего-то там делала. Так ты ее с работы выгнал. Мол, она своровала охапку досок. Если уж ты оказался такой зловредный, чего же от дикого хищника ждать?

– Кто мог знать, что ее мужа медведь задержит?

– Да и мужа ее ты не очень-то жаловал! Что – забыл? Не ты ли обвинил его в краже теленка с пастбища? Что было дальше, помнишь? Двойной штраф он заплатил не по твоей ли милости? Мало того, ты назвал его алкашом и запер в ЛТП. А бедные пятеро сирот – и это при живом отце! – готовы по миру идти. Ты думаешь, пресек всё в мире воровство, лишив пятерых детей молока, угнав их единственную корову с теленком в погашение штрафа?!

– Воровство есть воровство. Его надо пресекать.

– А может, у Ивана был свой расчет, ты об этом не думал? Помнишь, у Ивана кобылу сперли, яловую? Было такое дело? А кто спер? Уж не хозяин ли того тощего теленка, из-за которого столько бед! Что ж ты тогда не пресек воровство?

– Да будет тебе! Я что – учет веду здешним вора да разбойникам?

– А-а, сразу в кусты. Сегодня ты сыт, а за счет кого? Быстро же ты за был, шурин, свой вчерашний день, когда вши тебя поедом ели, и ты, как пес безродный, валялся у порога.

Бескемпир только что был в приподнятом настроении, гарцевал на призовом вороном скакуне, и румянец у него полыхал во всю щеку. В какую-то минуту – ни румянца, ни бодрости. Лицо побледнело, взгляд потух, парня будто подменили. Асеке никогда и не думал, что эта сволочь Ситан может так сильно наступить на чью-то больную мозоль. Да и сам сволочуга Ситан едва ли думал, что сумеет достать Бескемпира. Он и себя щадил не очень-то, но важно было то, что вместе с шурином он кончиком кнута и Асеке прихватывал.

– Ну ты и сволочь, однако, ну и скотина, – прислонился к нему наконец-то Асеке. – А ты думал, как мы посмотрели б в глаза Самиге, если б ночью сегодня тебя медведь придушил?

– И придушил бы, велика беда!.. Надоели вы мне. Твой жырау требует: заплати, мол, за амортизацию моей сестры. Ты тоже не даешь житья... Иван-покойник, земля ему пухом, и тот счастливее меня!..

А солнце на небе было тусклым и сереньким, как луна, взошедшая днем, – светило, правда, но не грело. Серый иней на северных склонах так и не растаял. Октябрьский ветер был вроде не сильным, но пробирал до костей.

И когда трое невеселых мужиков вконец продрогли, морды их лошадей уткнулись в стену одинокого дома, что стоял на взгорке в устье речки Талдыбулак.

– Батюшки-святы! Ты ли это, родной мой, единственный!

Самига доила кобылу у плетня и, увидев приехавших, вскочила, забыв всё на свете. Бадья упала, молоко пролилось, кобыла взвилась на дыбы, топчя бадью и приводя ее в негодность. А Самига подбежала к Бескемпире, обняла его и расплакалась...

3

Пока Ситеке возился с овечкой, Самига, то смеясь, то плача, успела промыть кишки овечьи и внутренности, приготовила куырдак из легких и печени, в мгновение ока у нее и казан закипел, и самовар запыхтел. Ситеке не смывал кровь на руках, будто верблюда зарезал. Он всё сидел, не отрывая глаз от дыма печи-тандыра с курносой трубой. Бескемпир молчал, на щеках играли желваки, волосы были взлохмачены, и весь он сам

не свой после слез и объятий единственной сестры, которую не видел столько лет. Асеке, понимая свою неуместность в этой ситуации, ушел на подворье и, обойдя сараи и клетушки, вернулся, не веря глазам своим. Что-то здесь было не так. Ситан вне дома был неряшлив, одет абы как, и весь его вид являл собой нищету в крайней степени. Но домашнее хозяйство его было в состоянии более чем образцовом. Асеке решил, что это дело рук Самиги и детей, так решить было проще. Но прежний четырехкомнатный крестовый дом превратился в шестикомнатный, снаружи сосновые бревна, красные как кишмиш, блестели, пропитанные олифой, в стороне красовалась новая баня по-белому, и в срубленных из цельного кругляка сараях и клетушках был живой капитал, причем в количестве, редко встречающемся в этих краях. Что еще? Запас дров, которого хватит не только Ситану, но детям, внукам и правнукам. Стог сена, он был так велик, что его хватило б прокормить скотину целого аула, а значит сено это – на продажу. И крупная скотина, что лежит в разных местах подворья, видать, тоже попадет на весы приемщика Ауганбая. Сытые, холеные бычки и телята бесятся под стогом, бодая друг друга, а Ситеке лень даже прикрикнуть на них. Он расслабился, он в полудреме, и всё это богатство для него сейчас, казалось, не стоит и пяти копеек. А с чего бы это он так опьянел, подъезжая к своей заимке? К бутылке не прикладывался, не было бутылки.

Даже Самига, ставя чайник заварной на раструб самовара, спросила:

– Асеке, каким это зельем вы напоили моего муженька? Глянь, как он губы развесил. Ему б еще твой нос, но тогда уж я была б ему не ровня, не судьба была бы с ним жить!..

Вот так вот, обоих обласкала. Вытащив черный пузатый кумган, гревший бока в очаге, она полила теплую воду на руки Ситану, чтоб он смыл наконец-то с них кровь, при этом внимательно осмотрела мужа, ее длинные ресницы как будто опахнули его лицо, чтоб разбудить полуприкрытые, без ресниц глаза мужа.

– А кобыла ушла с недоумением. Как бы с ней чего не случилось. Она диковатая всё же, – лишь теперь напомнила она ему, что нужно в стойло заводить скотину.

– Так в этом доме не только она диковатая, – буркнул он и запнулся. Но всё же выдавил: – Если будет на то твоя воля... придется и сегодня расстегнуть пояс.

Он не сказал «раскошелиться», он придал своей просьбе оттенок интима.

– Ой, спасибо, что хоть изредка заходишь в дом, напоминаешь мне об этом. Бесстыдник! – и она бросила лохматое полотенце на мокрое рыжее лицо Ситана, с которого скатывались капельки воды.

– Да я не о том! – сказал он, вытираясь. – Мне нужно это... ну, штука. Одна. Понимаешь? – и для наглядности он показал ей палец.

– Что, прямо сейчас? Кому невтерпеж-то?

– Прямо сейчас! Солнце пока не зашло. После захода солнца нельзя этого делать: дурная примета. За поясом ничего держаться не будет.

– А не дам, попьешь, что ли?

– Ну и попью.

– Только не при мне! Только не при мне! – всполошился Асеке, и, развернув свой нос совсем уж в непонятную сторону, начал насвистывать Бог знает что, не то науськивая Ситана на Самигу, не то унижая его в глазах Самиги.

Самига, вроде как оскорбленная, даже не тем, что муж ее может побить, а скорее тем, что он побить не сможет, вырвала у него из рук полотенце:

– Да он бы побил меня, давно побил, но... Тут незадача. Говорят, один из его предков не смог дотянуться до кос байбише. Так он залез на сложенные одеяла и подушки. Ну и... всё же побил, – и она резко встала, всем весом своим подминая и твердь земную, и Ситеке. – Меня не бьют в этом доме лишь потому, что нет скарба, сложенного штабелями.

И ушла. Ситан, уставший от подначек Асеке, зло глянул на него:

– Если не хочешь лишиться своей доли, то заткнись, прижми хвост и сиди. Пока здесь ее брат, она добрая. А как он уедет, ты хоть соловьем разливайся, пояс она не расстегнет.

Выходит, и у сволочуги Ситана жизнь тоже не малина. Асеке считал, что самая красивая женщина в мире не лучше Самиги. Он почуял: характером она крута. Но чтоб она была двуличной, на людях нежна, а как они уходят – фурия, извините, в это он не верил. И не поверит никогда.

– Вот это – всё, что есть, – сказала она. – Еще понадобится, ищи у себя в загашнике. А у меня за поясом и гниды не осталось, чтобы ногтем придавить, – и Самига бросила Ситану кошелек, сшитый из лисьих лапок, а следом протянула ручную пилу. – А это кто должен держать в руках? Я? Добрые люди бумагой пользуют. Это тебе, чокнутому, блажь пришла – делать пометки на сосне.

– Спокойно, байбише! Только без нервов, – и лишь после того, как кошелек попал ему в руки, Ситеке решился прямо глянуть на жену. А дальше он произнес речь, достойную того, чтобы привести ее здесь целиком. – Ни у тебя, ни у меня нет богатства, что завещали нам родители. Всё, что есть у нас, добыто трудом и потом. Все эти деньги – грязь с наших рук, оставшаяся от сосновых поленьев и от сена Талдыбулака, – то есть я тебя взял без приданого, но я тебя в том не виню. – Он даже подморгнул Бескемпиру своими глазами без ресниц: мол, постой, помолчи. – Что такое бумага? Она недолговечна, она рассыплется в труху. А сосна – ну, сосна другое дело. Она стоит себе и днем и ночью, и в жару и в мороз. И не просто стоит, а напоминает. О чем? Ну так ясное дело – о долгах.

– То-то я смотрю, от тебя все шарахаются. И близкие друзья, и дальние. А почему? Да потому, что боятся этого высохшего надгробия, – и она посмотрела на сосну, стоявшую у входа на подворье так, как на нее отродясь не смотрели. – Слушай, муж разлюбезный, если и дальше так пойдет дело, то в один прекрасный день мы лишимся не только друзей, но и родственников. Ты или собери долги – ну, все свои долги! Или спиши наконец проклятую сосну.

И, подхватив кипящий самовар, она ушла в дом.

Ситеке достал из кошелька горсть денег и бросил Асеке:

– По-моему, тысяча. Пересчитай.

– Но ты даешь не считая.

– Тогда оставь автограф на сосне, – он подал Асеке пиалу. – Пока это дерево не упало, стоит, ты свой долг не забудешь.

Голый бок высохшей сосны был весь в надрезах. Надрезов так было много, что они уже достигли того места, где когда-то была крона.

Асеке присвистнул:

– Сволочь.

– Да?

– Да. Куда ты денешь все эти деньги?

– Ума не приложу. Потому и сделал из сосны кассира.

– Наверно, здесь и Матпуса с Патлой отметились?

– А ты заметил!

– Они ж твои близкие друзья. Они с тобой готовы лечь в могилу. А если ты помрешь, кто будет собирать долги?

– Ай! Я-то живой. Да только померли те, кто здесь отметился. По крайней мере, половина их.

– Ты сумасшедший.

– Спасибо.

Он помолчал. А потом сказал Бескемпиру:

– У твоей сестры нет ума. Говорит, собери долги.

– И собери.

– С кого? Они умерли. Они на том свете. Их нету.

Помолчали. Посмотрели друг на друга. Вроде пока еще живые.

– Постой, – Асеке с интересом посмотрел на сволочугу Ситана. – Я, выходит, тоже зачислен в покойники?

– В известной мере – да. Ты что, собираешься жить вечно? Я думаю, сосна тебя переживет, не развалится.

– Черт знает что! Нет, я не играю в эти игры.

Асеке протянул было деньги хозяину, но тот пренебрег ими:

– А ну отдай мне пилу. А деньги... Сам заткни их за пояс моей Самиге. Если, конечно, наберешься духу.

Деньги жгли ему руки. И он смотрел то на тысячу, то на засохшую сосну.

4

Детей у них теперь стало восемь, а как зовут их, Бескемпир запомнить не мог. Вряд ли сам Ситан знает их поименно. Разве что Самига могла бы сделать им переключку? Но и она, посылая детей по хозяйству, не называла их по именам. Без разрешения никто из малышни к столу не подошел, и вообще детей не видно и не слышно, хотя присутствие их витает в воздухе. Да и увидев прорезь платья Самиги, трудно усомниться на этот счет.

Когда Самига садилась за стол, она одна умела заполнить его настолько, что и не замечалось отсутствие Ситана в доме. А может, Бескемпиру так показалось? Он никогда не брал в расчет, что у него есть зять, да и сейчас не очень его замечает. А с Самигой не виделись они десять лет. Он от нее отвык за это время. И лишь когда она, обняв его, разрыдалась, в нем воскресло забытое чувство родства, оно пронзило всё его существо, напомнив ему, что он не один на белом свете. Это чувство выбило его из колеи, и он сидел теперь отрешенный: присутствуя при разговоре, но не участвуя в нем. Он и не ел, и не пил, и шутки до него не доходили, кроме рук Самиги, разливающих кумыс, подающих наполненные пиалушки. Руки были в кольцах, он вглядывался в них, как бы надеясь обнаружить в них похожесть на то заветное колечко матери, утраченное им навеки. Нет, здесь были совсем другие кольца. Но всё же отсвет того колечка в них промелькнул, и слава Богу, слава Богу...

– Светик мой, тебе не здоровится?

– Что?

– Да ты не в себе. Что с тобой?

– А, пустяки...

– С ним все в порядке, – успокоил жену Ситеке. – Привык человек спать на льду, а тут после баньки расслабился, – приласкал он разочек шурина, глядя как Самига набрасывает на плечи Бескемпиру шубу, чтоб не простыл после парилки. – Может, ему не по вкусу твой холодный кумыс? Там у тебя есть медовуха? Так ты ее поставь сюда, а то она прокиснет. Он ведь опять лет через десять появится.

– Ваша светлость... пардон, Ситеке! Если человек на льду родился и на льду встал на ноги, то он выносливей сайгака.

– Вот-вот, они такие, они с нами не схожи, – Ситан с готовностью отнес их к одному разряду, жену и шурина, к породе морозостойких. Жена в ответ кольнула его взглядом, но промолчала.

Что правда, то правда: на льду родился, и первые шаги сделал по льду, но брошенное вскользь «они с нами не схожи» напомнило Бескемпиру издевки, что холодили душу посильнее льда... Он следил за Самигой, за ее порхающими над столом руками в кольцах. Привычно препирались Асеке с Ситаном, но важнее всех голосов и звуков был негромкий, под сурдынку напев домбры. Что за мелодия? То ему слышался кюй «Бозинген», то «Ел айырылган»¹ Асана Кайгы, Асана Печального, но эти две мелодии, переплетаясь, перемежая друг друга, томили душу, бередили память...

Сам он играть не умел – ни на домбре, ни на сырнае, ни на свирели, но слушать, как другие играют, любил. Баб и детей, которых на всё лето запирали между Катунью и Бухтармой, опекал хромой бригадир Акшамбек. Вернувшись с фронта по ранению, был он отцом всем детям, был он кормильцем и опорой вдовам. Он и понукает, он и ободрит, он и похвалит, и пожурит, а стоит ему отлучиться по делу от рабочей юрты, как в ней воцаряется уныние, будто из той юрты выкрали душу, и ребятишки разве что не скулят в ожидании Акшамбека. А как он играл на свирели! То есть, может быть, играл он неважно, но играть умел он один, и долгими вечерами перед сном то было их единственное развлечение. Курай они приносили ему охапками. Он, бывало, переберет не меньше сотни тростинок, пока найдет единственную – ту, в которой затаилась песня, и он, Акшамбек, должен извлечь эту песню из хрупкого горла свирели. Что же он играл им тогда? Кюй или песню какую, кто знает, но горький рыдающий звук од сих пор живет в душе Бескемпира. И сейчас, видя как сквозь пелену Асеке, склонившегося над домброй, Бескемпир слышал свирель Акшамбека и бродил душой по долине Актаса между Бухтармой и Катунью.

Акшамбек был одним из немногих, кто знал его отца, но сам бригадир помалкивал об этом, а на Бескемпира смотрел участливо и с теплотой, жалел он его и вроде как выделял среди других ребятишек. До вчерашнего дня, можно сказать, не знавшего толком своей фамилии, он не ведал имени отца, да и его собственное имя всегда безбожно перевирали все кому не лень. А поскольку любил он заучивать наизусть все стихи и поэмы, что попадались под руку, а если забывал какие строки, то сам их тут же и придумывал, прилипло к нему прозвище Жырау. А из всех родственников лишь единственная сестра отца Самига – она была ему тетушкой, но он считал ее старшей сестрой, и она относилась к нему, как к младшему брату – так вот лишь Самига, не пересчитывая всех пяти старух², называла его Жарыгым, то есть «свет мой», или Жалгызым, что значит «единственный». Хоть поругает, хоть приласкает, все одно – Жарыгым, Жалгызым. Но ведь не только эти добрые слова он слышал. «Фашистское отродье» – бывало, и так могли припечатать... Самый старший из пацанов, Матпуса, был призван в армию, ушел на фронт, но с полдороги вернулся – война закончилась, а родившийся в двадцать седьмом году Ситан так и не дождался отправки на фронт, остался среди голоштанников. И Матпуса, и Ситан не

¹ «Плач верблюдицы» и «Прощание с родными».

² Бескемпир, т. е. бес – пять, кемпир – старуха.

считали Бескемпир за человека. Потому что отец Бескемпир был враг народа, а значит Бескемпир – сын врага.

Раз в неделю бабы уходили в аул – помыться и постираться, Акшамбек оставался с детьми в черной юрте. Развлечения какие? Да никаких. Ну, баловались зелеными шишками кедрача, смолу обжигали в золе и грызли орешки.

Голода зеленый орех не утоляет, а переешь – скрутит живот. Но лущили орешки, как-никак рот чем-то занят... Самига всё лето жила в черной юрте косарей. Ей бы прокормить единственного брата да на себя заработать одежку хоть какую-нибудь. Его не покидала боязнь, что коромысло, не сходявшее с плеч Самиги, раздавит ее, оно как дышло на потертой спине колхозного быка. И хоть была она плохо одета и не ухожена, но в пятнадцать лет стала самой красивой девушкой в ауле. То ли жалко ей было оставлять братишку одного, то ли податься было некуда, но, когда женщины уходили домой, Самига оставалась в черной юрте. Ну, работы ее рукам не искать. Бывало, всё перештопает и вяжет, вяжет. Не только Бескемпир, все пацаны были одеты в ее свитерочки. Санитария понятно какая: вши и чесотка всех одолевали. Так Самига что придумала? Стянет с малышей бельишко нижнее и в муравейник закопает на денек. Потом стряхнет белье, и носи его себе дальше, ни вшей, ни гнид на нем нету, муравьи очистили, а кислота муравьиная, что на белье оставалась, буквально состругивала чесотку с кожи. Нянькой детям была Самига, а докторами и санитарами – муравьи. Спасибо ей никто не говорил за это, а спасибо говорили великому и мудрому вождю: за то, что всё лето вкалывали на сенокосе, за отцов, объявленных врагами народа, за вшей, которых скармливали муравьям, и за зеленые кедровые орешки, которые нельзя переедать, а то дрисня нападет. Да мало ли за что! В общем, «спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» А Самига и без спасибо обойдется, ей вон еще один тючок шерсти дадут, пусть прядет пряжу да вяжет свои свитерки и носочки.

Санитарные дни Акшамбек старался объявлять, когда шел дождь. И надо же случиться такому совпадению: как раз у жены его начались схватки. Он запряг куцехвостую и, делать нечего, со всеми уехал домой, а вместо себя оставил эту сволочь Ситана – он и тогда уж был сволочью. А надо сказать, Ситан ни на шаг не отходил от Самиги. Если она сгребала сено, он правил ей грабли, метала сено в стог – он чистил вилы, у казана готовила – он сам готов был лечь полешком в костерок. Бескемпир терпеть его не мог, то есть органически не переваривал. Его слезящиеся глаза без ресниц, желтое лицо без всяких признаков возраста, оно за эти годы никак не изменилось, неужто он может сказать, что когда-то был молодым? Он ничего плохого не сделал Бескемпиру, чтобы тот его так ненавидел. Но ведь должен же быть кто-то, кого бы ненавидел Бескемпир.

...Был мерзкий день, ненасытный и тоскливый. Туман будто серой каменной плитой придавил тайгу, а капли дождя были как мокрые осенние листья. Сволочь Ситан выгнал всех замерзших детей из шалаша на воздух и дал приказ: «Вы будете играть в войну». Сам себя не обидел, назначил главнокомандующим, всех остальных разделил на два войска.

– Кто победит, тот станет Красной армией, а кто потерпит поражение, будет в фашистах, – дал он им установку. – Кто победит, наколет дров и разведет огонь, а кто потерпит поражение, пойдет с мешками собирать орехи.

Ну, послушаться приказа не могли. Хотя ходить по горло в высокой траве, вымокнуть при этом да отмахать себе руки, сбивая шишки, радости мало. Зато развел костер и сиди себе грейся. Хорошо!.. Но самое тяжкое – никто не хочет быть фашистом. А раз не хочет, то дерется как зверь, при-

чем всерьез дерется, до крови, до порванных рубах и штанов. Значит, от матерей достанется взбучка, так уж было.

– Не пойдет! – видно, вспомнив про взбучку, послушался приказа Ергали Тырыша, его язык при этом чуть не вывалился в щель, у него как раз выпадали зубы.

– Р-разговорчики! – одернул его Ситан. – Или ты против приказа великого вождя?

Ергали не был против великого вождя. Все остальные тоже не были против. Более того, они готовы были засучить штаны, и как есть босиком своими задубевшими ножонками в цыпках идти через мокрый заиндевелый луг в кедрач, чтоб насшибать зеленых шишек, но никто не хотел быть фашистом.

– Сам назови фашистов и красных. По именам, – опять высунулся Ергали.

– Ты и будешь фашистом!

– Ни за что! Мой отец погиб на фронте смертью храбрых. – Ергали хоть и беззубая кандала, а за себя стоит горой. – Вон у него отец враг народа, – ткнул он в Бескемпир пальцем. – Лучше ему быть фашистом.

– Вообще-то... ты прав, – командующего убедила логика беззубого солдата.

Если бы у Бескемпир в ту минуту было в руках ружье, он пристрелил бы их обоих. Жаль, что не ружье, а просто палка, выструганная Акшамбеком, в руках у Бескемпир, но обида, потому что несправедливо, и ненависть к обидчикам, и злость на них доводили его до дрожи, до немоты. Он не любил играть в войну, не потому что ему не нравилась эта игра, а потому что он ненавидел фашистов и сам фашистом быть не хотел. С криком и воплями они все же делились на две команды, но рядом с Бескемпиром оказывались самые слабые и трусливые, да и те спешили дезертировать, чтобы переметнуться к тем, кто посильнее, то есть, понятное дело, к красным. Дезертиров, конечно, прощали. Особенно, если они, связав своего командира, приводили его в штаб красных. Ну, конечно, их же тут зачисляли в ряды красноармейцев. А Бескемпир сначала били, потом допрашивали. Допрашивал сам главнокомандующий, этот сволочуга Ситан.

– Имя, фамилия?

– Чего-о?

– Фамилию забыл?

– Иди ты знаешь куда?

– А ну сознавайся, сколько советских людей замучил?

– Отцепись, дурак.

– Ты как разговариваешь! Вот тебе за это пять щелчков.

– Ой, больно!.. Я не фашист! Ты сам... ты сам фашист проклятый.

– Тогда скажи: где твой отец?

– А твой где, знаешь? Он жрал собачье мясо и умер от голода в тридцать втором году. Понял?

– За то, что поносил моего отца, еще пять щелчков. За то, что назвал меня фашистом, валите его. Приказываю: всем вместе щекотать ему подошвы ног. Он сын врага народа, ему не место среди нас. В тюрьму его.

Знала ли Самига об этом? Он ей не жаловался, не говорил о том, как его избивают. Молча терпел и никогда при ней не плакал...

...Был мерзкий день. Туман будто серой каменной плитой придавил тайгу, а капли дождя были как мокрые листья. И мерзкая игра началась. Бескемпир один пошел в разведку, поймал Ергали, отпинал его наедине, потом сунул его башкой в воду и не выпускал, пока тот чуть не задохнулся.

Едва отдышавшись, Ергали стал вопить на него:

– Ты не имеешь права бить меня! Я красный командир...

– Какой ты командир! Ты предатель. Ты предал меня, – и он опять сунул его башкой в воду.

– Ой, дядечка, задушишь!

– Собаке собачья смерть.

– Не убивай меня. Я что-то скажу тебе.

– Говори. А то будет поздно.

– Ситан вместе с тетей Самигой... играет в это... в «куча мала». Нас на войну выгоняет, а сам каждый раз... куча мала.

– Врешь!

– Ей-богу...

...Был мерзкий день, дождливый и туманный... Осока в кровь резала ноги, но он, спотыкаясь о камни и опять же в кровь разбивая ноги, бежал как сумасшедший. Уже добежав до места, он выдернул из пня для колки дров черный топор и с ним влетел в шалаш. Влетел да так и остолбенел, будто его по макушке стукнули. Ситан стоял на четвереньках и рыдал. При этом он пытался целовать ноги Самиги, а она молча, обняв ноги, сидела в углу шалаша.

– Не отталкивай меня, Самига! Мне не жить без тебя... Лучше убей, но не гони. Я умру без тебя, я умру...

Бескемпир впервые видел рыдающего мужчину. И вообще – он впервые видел то, что видел. Самига, глянув на Бескемпир с топором в руках, вскочила как ужаленная:

– Свет мой, Жарыгым! Что с тобой?!

Ситан с рыданиями выполз на четвереньках из шалаша, зло высморкался и накинудся на Бескемпир:

– Чего стоишь? Иди, играй. Война еще не кончилась.

– Война кончилась. Мы победили! – он выронил топор из рук за необходимость. Видно, сам Бог вложил в его уста те слова, потому что не прошло и года, как война кончилась, и справедливость победила в мире, но не в судьбе Бескемпир. Жизнь свою переиначить он еще долго не мог...

...Когда пришли холода октября, люди возвратились в зимние жилища. Не имея пристанища, Самига с Бескемпиром зимовали в одном из пустовавших амбаров колхозного зерносклада. У Ситана тоже не было конуры, где бы он приткнул свою голову. Ночевал он в конторе колхоза и сельсовета и в тот год не отходил от порога Самиги. Днем чистили навоз в конюшне и на молочной ферме, а ночью караулил зерносклад, а если точнее – двери Самиги караулил. И войти не просится, а если гонишь его, не уходит. Сидит, съежившись на ступеньках, как ничейная собака. Когда в сумерках Бескемпир возвращается из школы, Ситан, согнувшись, молча убегает из дома, а когда в школу идет, тот, вобрав голову в плечи, молча сидит на ступеньках. Ночью только и слышен скрип его шагов снаружи. При Бескемпире Самига не зазывает Ситана в дом, а когда Бескемпир в школе, кто их знает, что они делают?..

Во дворе выла свирепая декабрьская метель, подслеповатое оконце их лачуги покрывалось наледью от стужи. Не в силах уснуть, Бескемпир мерз под шубой, а с улицы нет-нет да и доносился скрип шагов Ситана, и стонали ступени снаружи, когда на них присаживался горе-сторож. Какой бы собакой он не был, но всё же жалко человека. Конечно, Бескемпир его ненавидел. И чего только он над ним не вытворял! Бывало, летом, на сенокосе, он крадучись ночью залезет в его шалаш, мотню

кожаных штанов единственных вырежет, штанины сеном набьет и подвесит на верхушку сосны. Утром все помирили со смеху. Самаги ругается, а Бескемпир молча залазит на своего быка и – на работу, а вы тут разбирайтесь как хотите. Бедный Ситан, конечно, не мог голый лезть на вершину сосны, дожидался, пока все уйдут... Но, видать, уже в то время, не афишируя это, Самаги латала его дыры... Может, жалела его, или старалась смягчить вину брата, кто знает?

Во дворе воеет свирепая вьюга. Бескемпир под шубой мерзнет, а с улицы доносится скрип шагов, и стонут ступени, когда на них присаживается Ситан.

– Самага!

– Что, свет мой, Жарыгым?

– Ты будешь женой Ситана?

Самаги притащила свою подстилку и лоскутное одеяло, легла рядом с братом, укрыла его поплотнее, крепко обняла:

– Зачем мне муж? Мне тебя поднимать надо на ноги. Пока не вырастешь, не станешь человеком, я замуж не выйду. Эх, выбился бы ты в люди!.. Сумел бы занять должность, как твой отец...

И оба молчат. Когда она вспоминает о репрессированном брате, а Бескемпир – о нем же, об отце, приходит тревога. Кому нужна большая должность, если она обрекает человека на тюрьму, а близким его приносит лишения и горе?..

– Господи, кто возьмет меня замуж, кроме Ситана? – она так сокрушенно, так горько вздохнула, что казалось, сердце ее выпрыгнет из груди. – Кому ты нужен, кроме меня? А я кому нужна, кроме Ситана? Сестра врага народа...

Он вдруг испугался. А вдруг, пока он подрастет, сестра постареет, и даже Ситан не возьмет ее в жены?! И Бескемпир в том же году сбежал от нее в детдом соседнего района. Забрать его сразу же Самага не смогла – руки коротки. Да и потом один ей путь был – замуж за Ситана, а с ним Бескемпир ни за что не ужил бы. Сестре врага народа, за которую так переживал тогда Бескемпир, боясь, что она непоправимо постареет, шел в ту пору семнадцатый год.

...Хозяйке рук в кольцах, что порхают над столом, уже за сорок, а стареть она вроде не собирается. Не сказать, чтобы полнота одолела ее, но женщина она, что говорится, в теле, высокая, статная, Ситан рядом с ней и не виден. А Бескемпиру кажется, что они и не изменились. Какими были почти четверть века назад, такими и остались...

Снаружи вдруг залаяла собака. Асеке прислонил свою домбру к стене, а Ситан, сволочуга такая, прислушался, выжидая чего-то.

– Байбише! Надо двери закрыть на крючок.

– Да? Ты что – есть собираешься крадучись? Выйди на улицу, глянь, кто там. Не то собаки твои околеют от злости.

– На то она собака, чтобы лаять, – он остался сидеть как ни в чем не бывало. – Если он ест медвежье мясо, а сам одевается в волчью шкуру, как же собаке на него не лаять?

– Да про кого ты говоришь?

– Про Ивана, конечно! Про кого же еще? Кроме него у тебя разве есть ухажеры, которые искали бы тебя глубокой ночью?

Пока они так препирались, в дом вошел человек в громадном волчьем малахае и, выпучив глаза, объявил: «Здрасьте вам!» Иван, про которого твердили, что он погиб страшной смертью, явился собственной персоной.

– Чего это ты в октябре зазываешь январские морозы? Или замерз? Еще тепло, а ты напялил волчий малахай? – Самаги удивленно смотрела на гостя.

– Мне сказали, сюда зашла целая свора собак. Это я поугагать их надел, – и, смахнув шапку на сырмак¹, постеленный вокруг низкого стола, он подсел к стальным.

– Да, свора что надо! – сказал Асеке, намереваясь развить эту тему.

Но Ситан опередил его:

– Хотели по тебе тризну справить, разговеться, так ты нам кайф испортил, сам явился среди ночи. Чего приспичило?

– Да дельце плёвое. Директор интерната пристал ко мне, чтоб я дрова привез. А деньги, дескать, ты за них давно уже взял. И помалкиваешь.

– Дрова у порога лежат. Мог бы взять их и сам, не заходить ради этого в дом.

– Да как же я уйду, не увидев твой луноподобный лик?! Байбише, давай воду для рук, – и он протянул Самаге свои здоровенные, как грабли, лапы. Потом вытащил из ножен длиннющий тесак и, обтерев о колено, навалился на мясо. Самага аж вздрогнула от размеров ножа и протянула было Ивану полотенце, чтоб он обтер свою саблю, но Иван успокоил хозяйку.

– Нож, байбише, стерильный. Разве что волка зарезал, но ничего поганого им не касался.

Асеке сразу понял, что нечистый на руку Иван не просто так явился среди ночи на заимку, не просто так заявил о своре псов. Значит, у него надоба кое в ком из этой своры, чтобы обтять какое-то дельце. Ну что ж, не будем торопить события.

Едва ли нужен был тот гость непрошенный Ситану, да еще при леснике и лесничем. Принесла же его нелегкая! Да еще за дровами, которые Ситан втихаря продал интернату. То есть налицо незаконная рубка леса! Вот и выкручивайся теперь... А Иван знай себе лопаёт мясо, ему и горя мало. Тут и впрямь пожалеешь, что его не задрал медведь.

5

Бензопила, зарывавшая спозаранку, подняла Асеке. Он лежал, завязав глаза длинным полотенцем и притворяясь спящим. Всё вокруг побелело от выпавшего снега, но первозданную тишину мира нарушали Ситан с Иваном. Свалив высохшую сосну, они разрезали ее на куски, и казалось, то не опилки – капли крови падают на белый иней. Поверженная толстая сосна в последний раз напомнила Асеке о его тысячерублевым вчерашнем долге. Значит, так эта сволочь Ситан исполнил просьбу Самаги. Но это не просто жертвенный акт, как бы не так! Он и здесь не мог не урвать своей выгоды. Пожалел отдать готовые дрова, а заодно и должок отработал. Нет, никто не сравнится с умением Ситана делать из дерьма конфеты. Из коротких веревок, там узелка не завяжешь, он свивает целые арканы. Хобби у него такое. Из бросовой щепки извлечь копейку и набить рублями сундуки, а потом, не скупясь, раздавать свои сбережения там, кого нужда приперла к стенке. Такое не часто встречается нынче...

Иван, подобравший всё подчистую, вплоть до опилок, заглушил трактор, сел курить. Видать, волчий малахай служил не только головным убором, но и по совместительству подстилкой, он бросил его себе под задницу, чтоб теплее было. Сидит, грудь нараспашку, от взмокших волос валит

¹ Набивной ковер из кошмы.

пар. Расселся он капитально, будто завершил всю работу по этому дому, и, видать, не уйдет, пока не опустошит полсамовара Самиги.

– Ну, чего сидишь? Время деньги, – понукнул его Ситан, чтобы отделаться. Но Иван, щелкнув пальцами, потребовал:

– Давай билет. Подсчитай, сколько тут кубометров, и на них возьми у него разрешение, – дымом папиросы Иван указал на Бескемпир, который слонялся по двору.

– Еще чего! Так перебеешься. Дрова я тебе загрузил? Загрузил. Катись.

– Э-э, нет. Так дело не пойдет. Я приехал получить готовые поленья, а ты мне свалил дерево. Теперь попробуй с ним проехать через шлагбаум Мишеля. Бумагу давай.

– Да он же здесь лесник, и он всё видел. Зачем бумага?

– Мало ли что он видел. А где гарантия, что он не догонит меня и не заставит всё это выгрузить? Да еще оштрафует! Нет-нет. Пусть дает бумагу: мол, топливо везу для интерната.

– Рехнулся парень.

– Порядок есть порядок. Мне что – на пальцах Мишелю доказывать: мол, этот аферист Ситан пожалел готовые поленья и загрузил на трактор гнилое дерево?

– Ну ты прохиндей...

– От прохиндея слышу. Тебя не поймаешь на просе, но и меня не проведешь на мякине.

– Тьфу!.. Бескемпир, хоть ты скажи ему что-нибудь.

– Что, опять не можете разделить шкуру неубитого медведя?

– Никак не можем найти хозяина этих гнилушек, – Иван вытащил из-под задницы малахай, отряхнул его, нахлобучил на голову и ухватился за борта прицепа. – Не дашь бумагу, вывалю обратно.

Бескемпир тут же всё понял. Глянул на пень от сгнившего дерева и рассмеялся. Дерево выгнило напрочь, там, кроме тоненького ободка, толщиной с лезвие ножа, живого места не осталось. Он не поверил ни Ситану, извлекшему выгоду из гнилья, ни Ивану, который на гнилье требует особое разрешение. А не поверив, он тоже не без умыслу призвал в свидетели Асеке:

– На ваш взгляд, какая цена сему покойному дереву?

– О-о!.. – Асеке присвистнул даже. – Вы видели на нем отметки? И каждая отметина – тысяча рублей. И чтобы узнать истинную цену этой покойной сосне, надо призвать в свидетели не только меня, не только Матпосу с Патлой, но всех живых и мертвых Аксу и Жаманая, Котынагаша и Жындысая...

Иван только хмыкнул в ответ иронично и зло. Бог знает зачем, но ему нужна была сейчас бумага, что всё, мол, на законных основаниях.

Бескемпир обвел взглядом хозяйство Ситеке вместе с подворьем и огородом:

– Сколько здесь соток?

– А кто их считал? Разве сам Господь Бог!..

– Не считал, значит. Что ж, придется посчитать. А сам не подсчитаешь, заставим.

– На кой ляд?

– А вот на кой. Тебе положено пятьдесят соток. И если дерево стояло на твоих пятидесяти сотках, никто его цену оспаривать не будет. Но если...

– Не морочьте мне голову! – возмутился Иван. – Разве сволочь Мишель поверит, что сволочь Ситан свалил это дерево у себя во дворе? Что я – сюда его приведу? Нет, вы тут крутите-вертите, как вам угодно, а мне бумагу давайте. И всё!

– Не могу дать бумагу! – уперся Бескемпир. – Во-первых, прежде чем валить дерево, надо было испросить разрешения. Я бы выяснил его категорию, стандарты, степень гниения, возраст, а уж потом... Во-вторых, у меня нет полномочий распоряжаться деревом, растущим у кого-то во дворе. В-третьих, я не уверен, что дерево вы уже продали и разделили деньги. В-четвертых...

Если бы не вышла из дому Самига с самоваром, бог весть чем бы всё это кончилось. Она стянула с ноги мужа хромовый сапог и взялась раздувать самовар. А Ситан, оставшись полуразутым, с волочащейся портянкой, утратил охоту спорить. Асеке, только что воткнувший в губы «Шипку», восхищенно смотрел на толстые бока смачно поддуваемого самовара:

– В этом доме даже запах портянки не пропадает зря.

– Вот так меня здесь унижают, – буркнул Ситеке. Впрочем, буркнул вполголоса, чтобы Самига не услышала. – А я еще в ногах у нее валялся! Знать бы тогда, что меня ждет...

Не дав выйти дыму из голенища, байбише вернула сапог хозяину, и он уже в теплом виде напялил его на ногу, прошел к плетеной загородке, открыл дверцы, подхватил за ноги белого барана.

– Эй, лесоруб! Говорят, жена твоя вот-вот родит? На смотрины есть что резать?

– Нечего про ничего спрашивать, – устало отмахнулся Иван, но опять постелил на пень волчий малахай. На всякий случай.

– У этого барана рога дорогие. Когда еще раз заедешь, их назад завезешь.

Иван нехотя встал с места, как бы недовольный тем, что ему нашли работенку, когда все дела переделаны:

– Да мне его и загружать-то некуда. На дрова несподручно.

– А ты его зарежь, сподручней будет. Долго ли умеючи.

– Надо же, жадный какой! Хочешь потроха себе оставить? Тогда уж лучше вовсе не давай.

– Да тебе бы я не дал. Жену твою жалко...

Ситеке, что-то бурча, стал подсчитывать на пальцах, а когда дошел до девятого пальца, вздрогнул, испугавшись чего-то.

– Эй, лесоруб, погоди! Так девять месяцев назад ты в самый раз был в ЛТП?

– Нашел из чего делать проблему! Коли кто вмешался, так рядом, по соседству.

– Ну и ну ...

– А ты, если уж добрый такой, постеснялся бы байбише: даешь всего лишь одного барашка.

– Одного, но какого! На центнер потянет. Кстати, вот что: ты найди-ка скорее прицеп скотовоза да пригони его сюда. Скотину надо срочно сдать, пока не потеряла в весе. Да и сено она жрет почем зря. А быка своего – того, что ты собрался резать на зиму, забери побыстрее из стада, пока его не сперли. Телка-то пусть останется, летом ее вроде подлаживали под быка. Если матка не отсохла, может, отелится скоро?

– Отелится, куда ей деваться! Слава Богу, скотина, и не только скотина, но всё, что нам с тобой перепало, яловым пока не оставалось.

Получив барана, Иван забыл про бумагу и про все свои опасения насчет шлагбаума, Мишеля и так далее. Он тут же запустил мотор и тут же, тарахтя, уехал.

– Это что – вымогательство? Или взятка? – Асеке невольно усомнился в том, что хозяин дома был искренне щедр, расставаясь с бараном.

Но Ситеке встал на защиту гостя:

– Иван – чистейшая душа. Лишь завистники могут сомневаться в этом, – он походя зачислил Асеке в ряды завистников.

Чего-то в этом мире не хватало, какая-то образовалась пустота. Ну да, пень был на том месте, где всегда привычно высилась засохшая сосна. Ситеке, у которого вдруг опустело в душе, погрустнел, будто его базар разошелся.

– А этот лесоруб так и ушел не евши! – и словно собираясь отомстить толстобокому самовару, не закипевшему вовремя, он начал невольно стягивать с себя хромовые сапоги.

– Ты-то от какого праздника отстал? – спросила его Самига.

Он возмутился:

– У меня что – мало дел? И потом – тебе-то зачем я понадобился?

Самига улыбнулась. Не Ситану, а просто глядя на донце своей пиалы. И легкая та усмешка свела на нет гнев бедного Ситана. Он сразу как-то сник, глядя в открытые двери на краешек неба, и в его глазах, желтоватых, как вода в проржавевшем ведре, читалось тоскливое: «Эх, найти бы способ да выйти из этих дверей». И Асеке, бродяга, забулдыга Асеке, впервые понял, какая эта смертная мука для сволочуги Ситана – выйти за порог этого дома.

А Самига спокойна. Еще не притушила свет недавней улыбки на лице. Казалось, она забыла в ту минуту и про Ситана, и про гостей. Что там, в ее душе? Да, она хозяйка большого дома, но дом тот стоит в глухом, безлюдном месте. Нет, люди сюда заезжают, она умеет их приветить и угощением, и умным словом, и добрым взглядом, и человек понимает, что медвежий тот угол не заброшен в сиротстве, что царит здесь хозяйка, что в глухом безлюдье есть уют и тепло. А может быть, наоборот, ее томит глухомань, и горечь одиночества терзает ее сердце? Поди узнай!.. Тяжело вздохнув, она перевернула пиалушку донцем вверх.

– Эй, Нурбала! Принеси снаряжение отца, – крикнула Самига. – То ли за ним волки гонятся, то ли он за ними...

Из боковушки вышла девочка, стройная, славная, как золотой альчик. А ведь со вчерашнего дня голоса никто не подал из детей! Нурбала была копия Самига, и Асеке обрадовался. Он боялся: а ну как будет пожожа на сволочугу Ситана?..

Она бегом, вприпрыжку принесла из чулана стеганую фуфайку отца, кирзовые сапоги и сурочью ушанку. Ситеке и вправду, будто за ним волки гнались, мигом оделся и хлопнулся на табуретку у дверей, всем видом своим выражая, с одной стороны, нетерпение: «Ну, чего сидим?», с другой – как бы робея перед женой и умоляя Асеке и Бескемпире не осуждать его за столь спешный уход из дому.

Асеке усмехнулся, его холодные глаза потеплели:

– Ваша светлость... пардон, Ситеке! Я всё гадал, перевелись ли донкихоты в наши дни? Ну хоть один остался? Оказывается, есть такой. И обитает он в Талдыбулаке.

Бескемпир, сидевший, будто аршин проглотил, начал оживать. И дом как бы очнулся, оживая. А оживила всех вот эта задубевшая фуфайка, кирзовые сапоги, сурочья шапка, которые были неотделимы от привычной, всем знакомой морды Ситана. Глаза привыкли именно к такому Ситеке, душе нужна была и туповатая его физиономия, и одежонка, которую нарочно не придумаешь.

– Ты хочешь мне что-то сказать? – спросила Самига единственного брата. Тот невнятно пожал плечами.

Зато Ситан подал голос:

– А может, я хочу сказать. Почему ты меня не спрашиваешь?.. – и начал давать наставления: – Дело крайне серьезное. Я не могу тебе сказать сейчас, какое, но... мало что может случиться! Живым или мертвым, но я вернусь в этот дом. А ты будь готова.

К чему готова? Что он говорит?.. Ведь надо же: только что сидевший, не зная, как отсюда драпануть, он лишь надел свои доспехи, как стал горливым и важным, будто в Мекку собрался воздвигнуть там мечеть.

Самига не стала молчать в отчет, она ответила в тон ему:

– Вернешься живым, этот дом примет тебя, он твой, тебя всегда здесь ждут. А умрешь, не горюй, мы оплачем тебя, ты жил не так бесследно, ты оставил большое потомство, – при этих словах Самиги важность слетела с него, как шелуха. И убедившись в этом, она уже другим тоном его попросила: – Заедь в интернат: как там дети? Зайди на почту: есть ли письмо от сына? Понятно, он служит, и служба не мед, но скажи, в кого он жестокий такой? Неужели нельзя хотя бы раз в год сообщить, что жив, мол, и здоров!..

В кого он жестокий такой, она уточнять не стала: в отца ли, который уж если уйдет, то его ждать устанешь, в дядю ли, который тоже раз в десять лет навевывается. В общем, обоими концами одной палки она достала сразу двух мужиков, а то и трех, включая сына. Асеке смекнул: если будет рассиживаться, и его приголубят, не обойдут вниманием. А потому, не докурив «Шипку», он погасил ее. Но, повернув свой нос к дверям, увидел, что Ситеке уже исчез, и сам торопливо двинулся к выходу.

– Спокойствие, байбише. Только спокойствие.

Даже «до свидания» сказать не успел.

6

Туманы и капризная погода октября заставили часть скотоводов, которые отвели уже осеннюю стрижку, въехать в зимовья. Но большинство пока медлило. По краям просторной долины столбом стояли дымы прокопченных юрт и шалашей. Кочевой люд праздновать праздники начинал с приходом на жайляу, а успокаивался, лишь отдав замуж дочерей да обрета невесток. Ну, еще успевали пошуметь на вечеринках-тоях, устроенных в честь обрезания. Всё это вроде позади, сегодня нет иных забот, кроме как о скотине, и, заполняя вонью креолина кущи осоки и заросли камышей, шли гуртами несчастные бедолаги, задержавшиеся в низине в ожидании очереди на купание скота. И вот что любопытно: заботы у оленеводов с табунщиками те же, что и у чабанов, пропахших навозом, да интересы разные. Хоть голодными будут ходить, но постараются от чабанов быть подальше. Гордецы, ей-богу. Аристократы... Асеке, пожалуй, лишь теперь понял донкихотство сволочуги Ситана, который согласен хоть мышей ловить, но при этом он даже ханов приветствовать не будет. Бедняга, он не может ужиться среди людей, и хоть торчит в глухомани, а поди ж ты, кроме него и пойти-то некуда, чтоб посидеть у самовара да почаевничать от души.

Асеке с Бескемпиром тотчас пустились галопом, чтоб застоявшиеся за ночь лошади побросали навоз. Пока скрипучая игренева зеленоглазка догоняла их, они спешили и тоже облегчились. От Ситеке отрываться они вроде бы не собирались, а он не очень-то желал их догонять. «Куда мы так спешили?» – невольно думали они, когда увидели сурочью шапку, настигшую их. «И зачем я их догонял?» – недоумевал Ситеке в свою очередь. От двух дней, проведенных в тесном общении, они были сыты по горло друг другом. Скрипучая игренева, демонстрируя свою авто-

номность, махнула куцым хвостом, как бы сказав: «Прощайте, милые!», и дальше понеслась, поскрипывая.

Хоть лето и было засушливым, но сочная трава на северных склонах была нетронутой, и несть числа косачам, что чернели целыми стаями на стогах, лепившихся один к другому в местах укусов. С приходом инея тетерки так толстели, что летать отказывались, хоть кнутом их погоняй. Асеке и Бескемпир ждали, когда Ситеке пустит в дело двустволку, но он так и не вынул ее из-под ляжек, а в темпе пересек пустое пространство и прямо на коне влетел в распахнутые настезь ворота какого-то богом забытого скотного двора.

Сарай, переполненный навозной жижей. Ветхая крыша в гнилой соломе и затычках сена. Сурочьей шапке Ситеке были тесны своды сарая. Ну, а игреневая, понятное дело, жевала гнилую солому.

– Никак сдурел, – сказал Бескемпир.

– Эй, сволочь! Куда тебя занесло?

– На объект. Я дурак, который его охраняет. И у совхоза нет ума, раз он платит дураку за это деньги.

Асеке не двигался с места, и словно кот у норы сидел, оцепенев, не отрывая глаз от зарослей крапивы в углу.

– Про совхоз не знаю, а ты и вправду дурак.

Бескемпир развернул коня, но тут же чуть с него не свалился: вороной встал на дыбы. Из зарослей крапивы с треском вылетела курица, причем рябая. И черт ее вынес на вороного, она его крыльями в морду ударила. Поднялся гвалт, петухов и кур тут было не счесть. Да еще под ногами шныряли кролики. То была бесхозная живность, за которой чабаны придут в конце октября, чтобы собрать то, что останется после коршунов и лис. Что-то взвизгнуло в зарослях крапивы, и бог знает когда успевшая туда нырнуть сурочья шапка уже вылазила из бурьяна с добычей: в руках Ситана билась рыжая лисица. Хвост длинющий, спина переливается как атлас.

Ситан отстегнул капкан с ее лап и заважничал:

– Посмотрим, понравится ли наш подарок?..

– Понятно. Теперь ты ставишь капканы на бродячих кошек, – излил свою желчь Асеке.

– Тебе не стыдно охранять мышей? Почему же я должен стыдиться ловить кошек?

– Дал бы ей хоть раз искупаться в снегу.

– Некогда. Надо бабу одну обмануть.

– Ладно, дело твое. А капкан я должен забрать.

– Капкан? Где ты видишь капкан?..

Хотя и лиса и капкан висели рядом, притороченные к седлу игреневой, Асеке лишь присвистнул: а и в самом деле – где я вижу капкан?..

Значит, так: оставив своего Патлу в черной юрте на берегу Катуня, похоронив и тут же воскресив Ивана, заставив двое суток тащиться за собой как на веревочке, да не кого-нибудь, а кривоносого, куда, хотелось бы узнать, теперь направится наш Ситеке? Кто скажет? А никто. Сам он, подслеповато глядя на прокопченную юрту близ дороги, что-то ворчит, недовольный.

Впрочем, это уже не ворчание, а приказ:

– Сойдем у этого дома. Надо кое-кого поприветствовать.

– Это еще зачем? – сердито спросил Бескемпир.

– Как? Ты не соскучился по Ергали? Ну, если ты пренебрегаешь им, то в доме том есть взрослая дочь. А это уже интересно.

– Взрослая дочь? У Ергали? Откуда? – удивился Асеке.

– Жена привела. Сидит вся на выданье, готовая забеременеть даже от мухи, что сядет ей на грудь. Только молчи, только молчи. Мы обтяпаем дельце.

Кривой нос Асеке чуял запах скандала. Он оглянулся: не повернуть ли назад? Но Бескемпир, скособочившись, ехал покорно за ними.

Белотелая женщина с длинной гусиной шеей, едва завидев их, села на колени, повернулась в сторону Мекки и начала оплакивать покойника. Но в голосе не было скорби, мужа так не оплакивают, да и по родственнику, каким бы дальним он ни был, голосят иначе, не так шаловливо. А тут как зазывное мычание яловой:

Ой, да окошел, да помер мой Ситан,
Среди кобелей он был как султан!
Вот уже сутки воют суки
От горя горького, от тоски и от муки!
Бедный Ситан, пёсик родной,
Как же теперь без тебя мне одной?
Лучше собаки не было, нет!
Ой, застыт слезы мне белый свет...

– Эй, – осторожно приблизился к ней Ситеке. – Муж, что ли, умер? Кошмар!..

Женщина с гусиной шеей даже голову не повернула:

– При чем тут муж? Ситан сдох. Ситан...

– Эй! Ты что, сдурела? Типун тебе на язык! Чтоб у тебя за щекой змеи снеслись! Чтоб тебе скулы свело! – Ситеке в панике соскочил с коня и с разбегу налетел на труп вытянувшейся рыжей собаки.

Только тогда женщина с длинной шеей повернулась и, словно только что увидев сурочью шапку Ситана, руками развела:

– Кого я вижу! Щёголь-деверь приехал! – и взяв в горсть тяжелую разлохматившуюся косу, закинула ее за плечи.

– Не приведи Господь! – Ситан стоял перед женщиной, ошарашенный только что услышанным плачем. – Спаси и помилуй!..

– Ой! Что случилось? – всполошилась она.

Но он уже взял себя в руки:

– Ладно, проехали. Этот Ергали не заел твой век?

– Ой, встретила б я тебя вовремя, не пропадала бы за чабаном. Да еще дети... их четверо! Детей возьмешь, прямо сейчас пойдешь за тобой.

– Эй, у тебя же их пятеро.

– Ну уж там! Девочка не в счет. Да она и на выданье. С первым же встречным сбежит.

– Ну, тогда ладно, – вздохнул Ситеке, окончательно уняв волнение. И тут же, отвязав с тороки красную алтайскую лисицу, отдал ее в руки длинношеей красавице. – Тебе, сваха! Пусть это будет первым подношением.

– Я – сваха? Ой, что ты задумал?

Щеголиха тянула и без того длинную шею, заглядывая поверх сурочьей шапки, будто спрашивая: «А кто жених?» – и смотрела оценивающе на Асеке и Бескемпир.

Клава, прозванная в Аксу «щеголихой», была женой Ергали. И хоть родила она пятерых, но не утратила приятности и стати. А щеголихой она была хоть куда! Когда, лебединую шею обмотав желтой косой, скользила она в танце, подрагивая бедрами, парни головы теряли, и у мужиков земля под ногами плыла. Все звали ее щеголихой, а Ситан за яркие и синие глаза дал ей кличку «такси». Так вот эти ярко горевшие фонари пренебрегли кри-

вым носом Асхата и выбрали мишенью Бескемпира, хотя то, что оба они старые холостяки, не было секретом.

– Ой, деверь! А кто из них жених, кто дружка? И чего это они, сидя на конях, сватают девушку? Или пренебрегают нашим шалашом? Ой, да я и сама еле влажу в него: голову суну – зад сверкает снаружи.

– Бедный он, бедный! – посочувствовал Ситеке.

– Зад мой жалеешь?

– Нет, хозяина шалаша. Если твой зад снаружи остается, то муж и во все ночует на улице.

– Не говори, деверь, не говори!

– А Ситан, значит, подох. И слава Богу. Он уж совсем старым стал.

Выставив единственный передний зуб на красных деснах – он торчал будто клык кабана – перед шалашом возник Ергали. Он, словно и не видел трех джигитов, вытянул назад ладони и потребовал:

– Зубы! Любашка, дай зубы!

Из шалаша вышла ядреная деваха, точная капля матери, и подала отцу миску с водой. Протезы были золотые, они являли собой образец той самой дорогой вещи, какую выставляют напоказ и демонстрируют каждому, кто приехал или собрался уезжать. Ергали долго тер свое золото о рукав, потом как собака, хватаящая кость, вцепился в то золото красными деснами, заполнив впалый рот зубами, и лишь после этого заметил приехавших.

– У-у, Ситеке приехал! – он невольно поднялся на цыпочки, приветствуя гостя.

Хотя Ситеке был коротышкой из коротышек, но Ергали так и не дорос до него сантиметра на два.

– Один из вас меня хоронит, другой оплакивает, третий материт... Никак не можете от меня избавиться, да? – Ситеке подобострастно, обеими ладонями, взял руку золотозубого.

– О чем ты, Суке-ай!? Тебе желать смерти? Да ни в жизнь! Живи сто лет... А мы лишились одного из главных своих сокровищ!..

Что правда, то правда: пес Ергали, беспородный кобель по кличке Ситан, сдох от старости. И хоть не было такого обычая у казахов – называть собаку человеческим именем, но вот называли пса Ситаном – то ли из шибко большого уважения к Ситеке, то ли в насмешку над ним, а чтоб их не спутать, за псом оставили кличку Ситан, а его тезку стали звать доверительно и по-свойски – Суке.

Трех всадников Ергали заметил сразу же, как только они показались на горе. Двоих он не узнал, но то, что на игреновой едет Ситан, было ясно. Чабаны всегда рады гостям, и, опасаясь, что те проедут мимо, Ергали чуть ли не за ноги вытащил свою жену, свалившуюся от усталости – она всю ночь стерегла овец.

– Эй, люди едут!

– Ну и пусть едут.

– Эй, там собака Ситан, он вроде в обиде. Вдруг не заедет?

– Что мне – бежать встречать его?

– Эй, бежать не надо. Ты выйди за дверь да начни причитать. Один Ситан, видишь, сдох, пусть будет заодно отпеванием бедному псу!

Ереке вмиг дал работу всем: своих говнюков послал за скотиной смотреть, дочь к очагу отправил, жену – к трупку рыжей собаки. Четвероногий

¹ Уважительное обращение, то же, что и Ситеке.

Ситан окочурился вечером, но отпевание его ждало, оказывается, приходится Ситана двуногого. Случись подобное не в этот раз, Ситеке обрушил бы на их голову потолок, но сейчас решил промолчать. Клава по крови была русской, но когда дело касалось шутливых айтысов, ей на зуб лучше не попадать. Но и Ситеке был тоже не из тех, кто за словом лезет в карман. Он отбрил бы ее как пить дать. Однако, вспомнив о деле, ради которого сюда явился, он решил язык держать за зубами и всячески выказывать свое уважение хозяевам. Бог с ними, с их шутками! Он хорошенько обшарил своими узенькими глазами фигурку девушки. А что – хороша! Длинноногая щеголиха вмиг заметила это, исподтишка шлепнула дочь по икрам полных ног. Та стояла босая, в коротком платье, без платка.

– Чего стоишь, рот разинула? Иди оденься!..

Ситеке, когда ему надо, за версту слышит шепот. И потому он понял, что красная алтайская лисица достигла своей цели.

Глава шестая

1

В зимние дни Сигат любил гостить не торопясь, с ночевкой, и потому, несмотря на январские морозы, он приехал в райцентр на санях. «На обратном пути заеду к Меруерт и Калынхану и там задержусь», – предупредил он Бекета и его с собой не взял, велел ему ехать отдельно. Меруерт за всё время один раз приезжала, чтобы забрать приданое. И всё. Больше в доме отца она не появлялась. Перед отъездом стояла, отвернувшись к стене, и плакала. Он встревожился: может, чем-то обидел? «Папа, я очень буду скучать по тебе...» В шестьдесят лет у него появился сын, но дочь отцу всегда дороже. И хоть он убедился: дочь не вернется в отчий дом, но сердце в это не хотело верить. А возраст в шесть десятков лет стал ощущаться как нелегкий груз, и пустоту в душе, возникшую с уходом дочери, он заполнить ничем не мог.

Он всегда был легок на подъем, ему бы только уехать куда подальше да побыть там подольше, но сегодня опытный серэ вдруг почувствовал неодолимую тоску по дому, быть может, это старческая лень? Был он холден в отношениях с близкими, не очень-то тянулся к родственникам, к детям, а тут размяк душой, расчувствовался.

Такой тревоги он никогда не испытывал. Он даже не стал заезжать к дочери с зятем. В ту же минуту, как освободился, он без оглядки кинулся домой. Не стал дожидаться Бекета, хотя тот зашел на бюро сразу после него. Сигату было душно, хотелось выйти вон из этих кабинетов, пропахших кожей и официозом, где тебя за человека не считают. И уже отъехав от Карагайлы, он подумал, что вроде бы причин для спешки не было, как не было причин для расстройства. И надо бы задержаться, поздравить парня, своего единомышленника, с важным событием в его жизни и с тем, что всё у него впереди. Ах ты, неловко получилось, не надо было так спешить.

Бекета вызвали на бюро райкома, чтобы утвердить кандидатом в члены партии. Ну, с Бекетом всё ясно, а вот Сигат даже не знал, зачем его вызывают, тем более в такую стужу да в такую трудную пору. Наверно, что-нибудь по хозяйственным нуждам: то ли похвалят, то ли пожурят, то ли пряниками одарят, то ли шишками. Пока что все шишки на него валились.

Что возмутило его? Мальчишки, еще вчера глядевшие ему в рот, ловившие каждое слово, те самые мальчишки, которых он опекал, учил уму-

разуму и считал чуть ли не детьми своими, окрысились вдруг, схватили его за ворот и начали трепать, как свора псов. Ведь сорок лет он был для них примером, образцом. И вдруг перечеркнуть всё в одночасье! Что за порча напала на них?.. Сигат, любивший перед схваткой размяться, прощупать противника, узнать его слабые стороны, здесь с самого начала загнал членов бюро в сугроб, сбил с толку, посрамил, как щенков-несмышленишек. Но, видимо, вошел в азарт и слишком воодушевился. Лицо секретаря райкома потемнело и задымилось, как блин на сковороде. Сигату показалось даже, что прямо перед ним в секретарском кресле сидит тот, с козыми глазами, воняя кожей и одеколоном, сея вокруг себя подозрение и боль. Всё было как в тридцать седьмом году.

– Товарищ Сапанин, поскольку автор заявления остался инкогнито, у нас нет возможности сделать с ним очную ставку.

Понятно, опять анонимка.

– ...Но прежде чем рассматривать это дело, партийная контрольная комиссия внимательно проверила все факты.

Ну что ж, очередная кляуза.

– Сначала о вашем происхождении... Отец ваш Сапа – крупный бай...

Нет, это что-то новенькое.

– ...владевший табуном в пять тысяч лошадей, которые были конфискованы в двадцать восьмом году за антисоветскую пропаганду их владельца. По его наущению сотни людей были переправлены за кордон. В тридцатые годы он был сослан в Сибирь. Почему вы скрыли этот факт при вступлении в партию? В заявлении сказано, что вы авантюрист, обманувший доверие партии. Вы признаете себя виновным?

– Признаю – то, что всё это чушь и нелепость. Во-первых, мой отец Сапа имел не пять тысяч лошадей, а три тысячи, и были они не конфискованы, а им самим по своей доброй воле переданы властям, и не в двадцать восьмом году, а в двадцать шестом. И если люди, спасаясь от голода и от слишком рьяных активистов, бежали за кордон, то даже могила моего отца здесь, рядом. А что касается моего вступления в партию, то ведь принимали не вы меня. Я в партию вступил в сорок втором году, в окопах Ленинграда. И происхождение свое при этом не скрывал. И партбилет я получил из рук первого секретаря Ленинградского обкома. Причем получил не где-нибудь, а на передовой. Так кто же здесь авантюрист?

– Ну да, по-вашему, война всё спишет. Тем более что свидетелей нет.

– Почему же нет? А жалоба в ваших руках, причем анонимная – для вас это главный свидетель. Ну, а если уж мои свидетели соберутся, им не только что в этом кабинете не уместиться, для них будет мал весь наш район. Их полтора миллиона, живых и павших, тех, что защищали город на Неве.

...Полтора миллиона! Он не случайно назвал эту цифру. Единственная награда, которую он прикалывал в торжественные дни, была медаль «За оборону Ленинграда». Он был в числе первых, получивших эту награду 18 января 1943 года. «Бог ты мой! Выходит, Ленинград защищало полтора миллиона авантюристов?!»

К ночи стужа ослабла, стоял мягкий морозец, лениво падали хлопья пушистого снега, они скользили по крупу белой лошади. Весь мир был распахнут настежь, он как бы замер, и лишь один Сигат плыл в том безмерном белопенном просторе.

С бюро райкома Сигат вышел разгоряченным, он посильней тряхнул вожжами, белый еще не потерял своей былой рыси, но гнать его не имело смысла, и, успокоившись, Сигат сбавил ход, чтобы не мучить сытое жи-

вотное. Откинувшись, он, будто запеленатый, сидел в легкой как орешек кошевке. Он изредка стряхивал белых мух, облеплявших воротник волчьей шубы. Потом ослабил шнурки лисьей шапки и удлинил валенки, натянув на ноги свернутые края белых голенищ. «Подумать только, свалить меня решили. Бюро специально собрали. Неужто нет других проблем?» Он даже посочувствовал секретарю райкома: что ему делать, бедняге, если он только-то и может, что дотянуться до меня? Ну да, будь у них больше власти, вряд ли они стали бы бороться с каким-то директором махонького лесхоза... А ведь со стороны – мужик хоть куда, и вроде бы серьезный. Но что у него есть за душой? Да ничего, кроме зависти за кресло под собственным задом. Нет, не случайно Сигату всё время казалось, что перед ним один из есимханов с козьими глазами. А остальные семеро? Мои ведь выкормыши. А как раскудахтались! Будто злодея вдруг из-под земли достали. Выходит, все они на одну колодку, с одного конвейера, по одному заказу отштампованы. Чей это заказ? Кому они нужны, эти люди? Зачем? Чтобы держать народ в смирении? От смирения к терпению – один шаг, от терпения к глупости – уже полшага. Во что превращаемся? Куда идем? Сами себе прокуроры и судьи, сами же обвиняемые. А где адвокаты?.. Бог ты мой! Достаточно одной лишь анонимки, чтобы смешать человека с грязью!..

Вырвавшись из душного кабинета на волю просторного мира, лежа в кошевке, Сигат стал жалеть предводителя коммунистов и его семерых подголосков. Они, бедняги, так и остались в душном кабинете, пропахшем кожей и официозом...

– Вы лично в тридцать втором году, разрушив и разграбив только что организованный колхоз в Кайынды и Акжаре, всё его трудоспособное население перевезли в Аксу. Чтобы заполучить доверие сектантов, называемых в народе кержаками, построили им скит, который действует и поныне. Вы и сейчас продолжаете вредительскую работу. Воспользовавшись последствиями недавнего пожара, вы опустошили еще одно отделение соседнего совхоза. Вы признаете, что это экономическая диверсия, подрывающая советскую власть?

– Признаю – то, что это бред! Вы поднимите архивы тридцать седьмого года: я уж тогда дал исчерпывающие ответы на все эти вопросы.

И всё-таки... всё-таки, кто расскажет им правду о тех страшных днях? О том, что две трети людей, попавших в беду, умерли с голоду. О сотнях, тысячах безымянных затерянных могил. О них знает только земля, пропитанная болью и кровью. О них знает вот эта столбовая, безлюдная дорога.

...Стояли последние дни марта, когда санная дорога уже растаяла, а на телеге еще не проехать. Дул пронзительный ветер, он вытряс душу из Алтая, забрал последнее тепло у людей, отощавших от голода и прозябавших в войлочных поселках, у которых не было даже названия, а лишь номера: первый, второй... всего десять. Сигат и Осип Митрич выехали из райцентра в пароконном возке и, проваливаясь по ступицы в грязь, еле доехали до седьмого аула в Акжаре. Ни в одной из двадцати юрт не было признаков жизни. Лишь в центре перед двумя юртами, поставленными впритык друг к другу, курился дым. Сюда и завернули, чтоб накормить лошадей. Громадный человек, закрыв ладонями лицо, сидел и плакал. Лицо его вздулось, стало фиолетово-черным.

Сигат с трудом узнал Жанжигита.

– Что случилось, агатай?

– Сам не видишь?

По левую руку от него лежал топор, по правую – кетмень, их рукоятки были в глине. В глине были руки старика и ноги. Старик весь день копал могилы.

– Семья-то цела?.. Где женгей?

– Запер, – сказал Жанжигит, бросив взгляд на спаренные юрты. – Если умрет, то пусть умрет вместе со всеми.

Вход в юрту он задвинул жердью, привалил камнем и обвязал веревками. Изнутри слышались стоны и всхлипывания.

– Зачем заперли?

– Чтобы в казан кто-нибудь не свалился.

Жанжигит слегка сдвинул крышку с громадного казана, палкой помешал варившуюся в нем черную шкуру и снова прикрыл. Жанжигит варил черную сабу¹, в казане булькала рыжая, ржавая пена, пар доносил запахи кислинки и арчи.

– Меня узнаешь? Я Сигат, сын Сапы.

– Узнаю, отчего не узнать. Хорошо, что приехал. Эту черную сабу в котле оставил в нашем ауле когда-то Сапа. Вот и отведаешь суп из нее.

Черную сабу Сигат знал с детских лет. Она вмещала молоко Бог знает скольких кобылиц, а чтоб взбить в ней кумыс, подставляли пенек, иначе не достать. Громадная была саба! Найдется ли кто-нибудь в роду Каратай, кто не пробовал бы кумыс из этой сабы? Но Сигат и подумать не мог, что однажды ему придется жевать ее шкуру.

Все взрослые, кто мог еще ходить в ауле номер семь у Акжара, разбрелись в поисках пищи, а Жанжигит караулил детей, собрав их в спаренную юрту. Он устал копать могилы, он устал от смертей, от голода, он был изнеможен до предела.

Широченные плечи с трудом удерживали его большую голову.

– Приехал этот дурень Есимхан и стал издеваться, что мы не выполнили план по сдаче рогов и копыт, – Жанжигит устало смотрел на топор и лопату. – Хотел его ударить по башке, оглушить и живьем закопать, да сил не хватило. Но, кажется, помял я его крепко. Отпинал, как собаку, привязал к седлу задом наперед и с Богом отпустил!..

– Нельзя так.

– А что сегодня можно? Пока он вернется, я уже определюсь. Только некому будет меня хоронить.

– Агатай! Открой двери. Дети умирают. Открой, – приглушенно послышался голос из юрты.

– Потерпи, байбише! Потерпи, Балакай!..

Жанжигит, стараясь не нагибаться, потому как если упадет, то не встанет, еще раз приоткрыл казан, поболтал в нем палкой. И окаменел, глядя на Осипа. Тот снимал с телеги полмешка овса, чтобы прокормить лошадей. «Люди от голода дохнут, а у тебя лошади жрут отборный овес». Это не было сказано вслух, всё было ясно без слов. Осип молча поставил мешок у ног Жанжигита. Старик перехватил мешок, взял его на колени, развязал и, зарывшись руками в белый овес, долго вдыхал его запах. Потом снова поднял крышку казана и, аккуратно отмерив горсть овса, не без сожаления бросил его в кипящую воду.

– Агатай, эти две лошади сколько дней могут вас прокормить?

– Две, говоришь? Две не надо, одной хватило бы, чтобы нам дожить до тепла. А там травка пойдет, корешков накопаем.

¹ Мешок из шкуры для кумыса.

– Берите обеих. До Аксу доберемся, там найдется подвода.

– Нет, одну распрягай. Пока доберешься до Аксу, тебе встретится много несчастных. Мертвых оставь в покое, не до них, Бог простит. Живым помогай.

Но прежде чем проститься с ними, Жанжигит, испытывая муки, насыпал им мешочек овса. Осип братъ не хотел, мол, мы и так обойдемся, но старик думал не о них.

– Не раздавай больше одной щепотки на раз, – напутствовал он. – Голодному желудку щепотки хватит на сутки...

В восьмом ауле не было своего Жанжигита, а значит, все тридцать юрт опустели. Вдвоем до вечера еле выкопали большую яму и в ней зарыли десяток трупов. А дальше они увидели то, что лучше не видеть. Вот здесь увидели, вдоль этой дороги...

...Большинство тех, кто еще подавал признаки жизни, были женщины. Мужчины, будто затаив обиду на этот бранный мир, лежали, отвернувшись, вдоль дороги мертвыми. Словно меняя щепотку овса на детей, забирали их у женщин, грузили с Осипом на телегу. А женщины, отдав им детей, зажимали в горсти своей овес, и никто из них рта не открыл, чтобы попросить, мол, меня заберите с собой. Кто-то из них дошел до Аксу, кому-то дойти была не судьба. Сигат не мог унять рыдания, началась нервная икота, и он едва не помер от заворота кишок.

Спасла его от верной смерти бабка Агафья, знахарка. Не только Сигата спасла она, многих, чтобы доплетались по Аксу. Листья, травка, корни сушеные, вода целительная да руки добрые бабкины – то был единственный лазарет на всю округу, то было спасение от гибели неминуемой сотен людей.. Единственное, что они всем народом сделали ей в благодарность – построили скит, чтобы душа ее была ближе к ее кержацкому Богу. Кому он мешал, этот скит? Но, видно, он мог подорвать устои большевистской власти, потому что несчастную бабку, как злостную контру, как шпионку и врага народа, сослали в Сибирь, где она и померла. Осиротевшая после нее конура достояла до наших дней и снова стала гнездом «слепой религиозной веры», и снова она подрывает устои. Какой же ерундой мы заняты, вместо того чтобы делать простое и нужное дело!.. Мы лишили народ родной земли, а землю оставили без народа...

А дорога стонала под полозьями кошовки, а дорога рыдала от горя и беды, что прошли по ней нескончаемой чередой за эти годы... И жизнь моя, думал Сигат, осталась на дороге, сначала на этой, потом на другой, которую звали «дорогой жизни», которая была кромешным адом между блокадным городом и большой землей.

...Колонна трогалась в путь всегда в свирепый буран, который служил укрытием от самолетов противника. Если головные машины проскакивали, это было залогом того, что проскочат и остальные. В том месте, где проваливалась машина, оставалась лунка во льду, задерживаться у места гибели машины нельзя, это подвергает опасности всех остальных. Если уцелевшие машины пробьются в умирающий от голода город, это будет наградой и горькой благодарностью погибшим. Если уцелевшие машины с блокадными детьми выходят на большую землю, значит, риск был оправдан. Война не знала сантиментов. Сколько жизней он спас! Но ведь погибали люди, погибали...

– ...А как вы поступили со своей женой? Вы бросили ее с ребенком в блокадном Ленинграде и теперь ведете распутную жизнь. Вы изнасиловали девушку, она родила от вас внебрачного ребенка, и теперь

вы держите ее главным бухгалтером лесхоза. Вы признаете, что ваше поведение аморально?

– Я признаю, что ваше поведение аморально. Главбух лесхоза – моя законная супруга, а ее, как вы изволили сказать, внебрачный ребенок носит мою фамилию. Первая же моя супруга и наш с ней сын действительно остались в Ленинграде – на Пискаревском кладбище, в братской могиле...

...Спасал других, а сына спасти не сумел. А ведь была, была возможность вырвать из лап голода и смерти свою семью. Но – чем я лучше других? Их можно было вывезти, но ведь за счет кого-то? Да, да, своя рубашка ближе к телу, но что делать с голосом совести?..

Сын умер у него на глазах... Будто нож воткнули Сигату в печень. Но оплакивать сына, предаваться горю не было ни сил, ни времени...

Как много для него значила жена, он понял после ее гибели.

Она не отличалась ни красотой особой, ни особыми талантами. И не сказать, чтобы она прошла суровую жизненную школу, но человеком она была начитанным, знающим, выросла в интеллигентной профессорской семье. Студентка третьего курса лечфака Ада Абрамовна бросила институт и устремилась за Сигатом из Ленинграда на Алтай, в тайгу. Времена были трудные, времена были страшные: шел тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Покладистый характер, умение держаться в тени и довольствоваться малым помогли ей вписаться в незавидную провинциальную жизнь, стать опорой для мужа в его таежной работе и нелегкой судьбе.

После того как он дважды побывал с Есимханом с глазу на глаз, он понял: в третий раз его арестуют.

– Тебе надо уйти, исчезнуть. Причем срочно, – сказала она ему. – И не нужны тут высокие рассуждения, что ты должен быть со своим народом, спасать его. Тебя кто спасет, кто защитит? Беги в Ленинград...

– Беги, говоришь?..

– Именно: беги!

– А ты? А сын? Кто вас защитит? Мне, значит, спасать свою шкуру, а вас бросить на произвол судьбы?!

– Ну, меня едва ли тронут. Им нужен в первую очередь ты... Уезжай. За нас не волнуйся. Мы приедем чуть позже.

На что и на кого рассчитывала Ада? Во-первых, на отца. Там, в Ленинграде, он поможет. Во-вторых, три ее старших брата работали в органах. Но тоже – там, в Ленинграде. Здесь же Сигат был в безраздельной власти Есимхана... Сигат уперся: он не уйдет с поля боя, он будет стоять до конца. Она разрыдалась. Кинулась ему в ноги: «Умоляю тебя: уходи!..»

А дождь моросил непрерывно весь месяц, будто небо над Алтаем прохудилось, и твердь земная, и воздух, и сами горы были разжижены, а мокрый белый туман был как липкое месиво, в нем вязли ноги и вязла душа, взгляд был не в силах преодолеть эту плотную пелену. И казалось, в мире исчезли солнце, луна, голубая глубь неба, неведомо было, какое стоит время года. Что-то невидимое, серое хлюпало день и ночь, хрустело и чавкало, словно тварь ненасытная пыталась сжевать всё сущее на земле, поглотить всё пространство, в котором теснилась истосковавшаяся душа, и уничтожить само время жизни.

Ночи были беспросветно темны, промозглы и до оторопи жутковаты. У тарантаса, запряженного парой лошадей, стояли Сигат и Осип. Лил дождь, стекая с карниза крыши, его непрекращающийся шум сливался с шорохом капель в деревьях, и думалось, что это невидимая глазу тайга перекочевывает под покровом ночи в иные, более пригодные для жизни

места... Пора было двигаться в путь, но он всё колебался, душа никак не соглашалась с принятым решением, и можно было еще перерешить, поступить как-то иначе.

Он вскочил на крыльцо, грохнул кулаком по застывшим дверям, что притаились под деревянным навесом.

Дверь приоткрылась, и в прорезь между створкой и косяком глянуло из темноты дома – нет, не лицо, глянула белая маска. Ни бровей, ни ресниц, ни даже волос, а вместо глаз – темные провалы глазниц, и там, где рот, тоже темный провал без окантовки губ. Белая, мертвенно-бледная маска, от одного лишь вида которой у Сигата похолодело сердце. Он прислушался к ее прерывистому дыханию и понял, что она плачет.

– Я не поеду, – сказал он и хотел войти в дом, но его не пропустили. – Дай хотя бы попрощаться с сыном.

– Нет, – сказала она. – Ушел – не возвращайся. Жалость к нам лишит последних сил. О нас не думай... Уходи.

Дверь захлопнулась. Сигату казалось, что душу его разломали на двое: одна половина по ту сторону двери, другая – по эту.

Он уезжал скрытно, что даже собаки не лаяли. Тьма стояла такая, что ушей лошадиных не было видно. Лишь негромкий перестук копыт пароконки да шум колес, смачно откидывающих грязь, заполняли непроглядную темень. Перед глазами Сигата неотступно стояла белая, мертвенно бледная маска, и душа его тоскливо ныла, будто бы там, в душе, погуливал знобкий сквознячок. Когда он услышал чей-то крик за собой, он не поверил, решил, что показалось. Но крик повторился. Сигат соскочил с тарантаса. В нем вспыхнуло неодолимое желание в этой кромешной темноте еще хотя бы раз увидеть белую маску единственного родного лица. Кто-то его догонял по грязи. И когда догонявший приблизился вплотную, он узнал Саркыт. Она была босая и мокрая насквозь. Какое-то время она стояла молча, оцепенев и словно бы сочась водой. Потом бросилась к Сигату и зарыдала: «Дядечка, милый! Ты вернешься? Ты ведь не навсегда?!» И крик этот, и эти слезы перевернули всю душу Сигата. Вот-вот: «Привез, чтоб не дать умереть, а теперь сам убегаешь?» Слава Богу, она не сказала такого, но ведь могла бы сказать. И что я ответил бы ей?.. И потом всю ту нелегкую дорогу он часто вспоминал о ней: выходит, есть на белом свете человек, который рвется ко мне душой и видит во мне защиту. И куда же меня ни забросила жизнь, а эта сиротка будет искать меня и не успокоится, наверно, пока не найдет.

Искала его и рвалась к нему всей душой, конечно же, Ада. Нет, не одна она его искала: были вершители судеб, которые считали, что Сигат – источник зла и средоточие заразы, но сначала подключился тесть, потом три брата жены сумели развеять тучи, что сгустились над его бедовой головой. Ему удалось раствориться среди людей, начать как бы новую жизнь. Он был теперь научным работником Лесной академии, опасные вчерашние дни ушли в прошлое, стали забываться. Тогда-то, ровно через год, и приехала к нему Ада с сыном. И когда он увидел ее, изможденную, еле живую, с трудом превеликим сумевшую вырваться к нему, его снова отбросило в ту жуткую ночь, когда он крадучись выехал из Аксу. Чувство вины перед женой и сыном овладело им, он даже не смел поцеловать ребенка, не смел глянуть в глаза жене, будто изменил ей, будто предал ее...

Измученная Ада радовалась тому, что он жив и невредим. Да и как ее не понять? Дороже всех богатств для женщины вот это простое и тихое счастье, когда рядом с ней и ребенок, и муж. К началу войны она успела

окончить институт, а он защитил диссертацию. Все трое братьев ее эвакуировались с семьями, она же и шагу не сделала из Ленинграда: не могу, мол, бросить больного отца, ему уже семьдесят, он не вынесет переезда. Наверное, Сигат сумел бы настоять на том, чтобы она уехала. Но – куда? Отправить ее к себе на родину, туда, откуда он вчера бежал, скрывался? Но это равносильно тому, что добровольно сунуться в капкан. Ее отец вскоре умер, была возможность отправить Аду на большую землю, но она и слышать не хотела об этом.

– Умру вместе с тобой.

– Но я не хочу умирать!

– Об этом все мои молитвы.

– Постой. А если ты умрешь, что делать мне?

– Жить. Но пока я жива, с тобой ничего не случится.

Она стоически перенесла смерть сына. Во всяком случае, своих мук не показывала Сигату. После похорон малыша надела военную форму и очутилась в медсанбате. Поближе к мужу. Попытался ее отговорить: опасно всё же. Какое там! «Я должна быть рядом с тобой». Операционная. Работа на пределе сил. Но даже здесь она находила время для мужа. Здесь, где всё было пропитано кровью и болью, где смерть ежеминутно, ежесекундно стояла рядом, она умела быть любящей и нежной. И всем смертям назло она забеременела и не считала это грехом.

– Если что со мной и случится, ты останешься не один. Останется мой голос, мое отражение...

В минуты передышек она всегда приходила к нему. Жаль, передышки бывали редко: то бомбежка, то артобстрел, то атака, то контратака. Порой такая кутерьма стоит, что не поймешь, где небо, где земля...

...И вдруг бежит бледнее бледного, лица на ней нет. И сразу за руку схватила Сигата.

– Что с тобой?

– Показалось, что нет твоей левой руки.

– Руки на месте.

– Я прилегла на минуту, только глаза закрыла, и вот как наяву: ты сидишь передо мной по пояс голый... Точь-в-точь как сейчас. Но без левой руки.

Он действительно сидел полураздетый. Брюки только что выжал, натянул на себя.

Взвод, перебравшийся час назад с того берега, сидел, сушился. Портрет Жаке в кармане гимнастерки размок, он развесил его сушиться вместе с гимнастеркой. Тут, шагах в пятидесяти от себя, на ветке дуба пристроил, а взводу велел, пользуясь передышкой, поесть. Всё было как обычно: беглый огонь, на который привыкли не обращать внимания, да редкий кашель вражеских пушек, как ленивый лай волкодава, когда лежит он в тени и брешет на всякий случай, для острастки. В общем, бояться особо нечего. Ада пришла как раз в такую благодатную минуту. Лицо бледное, не лицо – маска. Как тогда, среди ночи. Зачем-то плачет. Из-за чепухи расстроилась...

Послышался свист шальной пули. Потом еще одной. Э-э, да тут никак снайпер работает? Солдатик выглянул с края траншеи, зло ругнулся:

– Гады! По плакату палят, – и дернулся с места, чтобы снять портрет.

– Стой! Назад!..

На сто случаев возможен один, когда снайперы мажут. Он забыть не мог того паренька, что погиб, спасая портрет Жаке. Не хватало ему повторения старой истории... Хотите – верьте, хотите – нет. Гимнастерка, что су-

шилась на ветке, вся в дырах, а в Жаке ни одна пуля не попала. Свернув Жаке и приложив его к груди, он было двинулся обратно, но тут его накрыло взрывной волной, и он на какое-то время потерял сознание. Когда пришел в себя, то ничего не мог понять. В центре траншеи зияла глубокая воронка. Сам он был жив и даже не ранен. А где же солдатик и где Ада? Они только что были вот здесь, где воронка... Хотите – верьте, хотите – нет. Ему показалось, что Жаке специально позвал его. Иначе... он был как раз рядом с Адой. А ее смерть сюда пригнала, или она пришла спасти Сигата от смерти? Так вот что означал ее вещий сон про его левую руку?.. Все эти слова и вопросы пришли много позже, а в ту минуту... Надо ли говорить, что он испытывал в ту минуту? И можно ли сказать об этом? Лучше помолчать в горькой скорби.

Он не помнит лица жены, исчезнувшей у него на глазах. Он помнит лишь белую маску. Ту, в прорези двери. Иногда всё это казалось жутким сном. Казалось, самой Ады не было в жизни. Казалось сном даже их десятилетнее супружество. «Если что со мной и случится, с тобой останется мой голос, мое отражение...» Остался призрак, белая маска осталась. Как гость незваный и докучливый, что приходит в сумерках и в сумерки уходит, скрывая свое лицо под белой безжизненной маской. И ведь преследует его, не отставая. С какой бы женщиной он не заснул в любви и покое, но глянет среди ночи на нее, а вместо лица ее – белая маска. Как наваждение, как проклятье. Потому-то ни с одной женщиной не смог он остаться. Ни с одной. Кроме, разве что, Менсулу.

...Призрачный, несущийся навстречу белый мир был, казалось, бездонным. Летящие снежинки будто зарождались на холке белого коня и, сорвавшись, улетали в распаханную безмерность. Конь был неважным на скачках, но он был прекрасен в дальней и долгой дороге. Он знал только ровную рысь и потому по-разному вел себя под седлом и будучи запряженным в сани. Под седлом он из-за тучности быстро устает, сбивается с хода, но стоит ему пролить пот, сбросить вес, войти в норму, и ровно запоет под ним привычная дорога, и сердце будет радо равному бегу, быстрой спорой езде. И сейчас с танцующими над холкой и крупом белыми хлопьями он как белый призрак стремглав и неслышно плывет в белопенном просторе. Ночь свежа, пока еще легкий морозец пощипывает щеки. И по тому, как падают пушистые хлопья, без круговерти, не свертываясь, не завиваясь, можно сказать, что этот снег ведет за собой морозы.

Необычен год Зайца. В какой год еще тайга одевается в январе таким толстым слоем снега? Уже сейчас он лег метра на три. Теперь коли придут морозы, втянутся бока не только у таежного зверья, но и у скотины на подворьях. Засуха, длившаяся всё лето, вылизала травы подчистую вплоть до болотной ряски, до мхов на камнях. Она и сена путем не дала приготовить. Ну, в отчетах у начальства всё шито-крыто, но если верить не филькиным грамотам, а истинному положению вещей, то в день на сотню овец приходится тючок сенца, а на десять коров – охпка. Лошади – тех вообще в расчет не брали. Лесхозу проще, здесь всего две отары овец, гурт коров да пятьсот лошадей, их не обеспечить сеном и кормами – это надо быть лодырем из лодырей, так что бескормица лесхозу не грозит, но тем не менее Сигат велел везде, куда дотянется рука, траву скосить начисто, сметать аварийные, так сказать, стожки хозяйства района – что ни год, по весне тащатся к нему с санями, падают в ноги: подбрось, мол, сенца, не дай пропасть, родимый. А нынче они придут к нему с протянутой рукой много раньше, уже в конце февраля. Районное начальство об этом знало,

не могло не знать. Сигат не афишировал свою благотворительность, но это тоже был способ хоть как-то окоротить чинуш, они ведь, сидя на осле, гарцуют, будто под ними скакун, но уважить того, кто сидит на верблюде – это ниже их достоинства...

А ведь и в прошлый год Зайца, двенадцать лет назад, снег тоже выпал толщиной в четыре метра, и сильные морозы истребили всю живность. Уцелел косолапый в берлоге, тот лапу сосал, да косой, тот кору деревьев грыз, а на оленей и косуль – они, бывало, не всякому снайперу давались на мушку – нападали аульные дворняги, оставляя рожки да ножки... А ведь прижмут морозы и выведут на чистую воду всех этих очковтирателей – шустряков с их липовыми отчетами. Но Бог с ними, с очковтирателями! Только бы не было падежа...

– ...Вы признаете, что вы перерожденец?

– О Господи! А это что еще такое?

– Вы внедряете психологию собственника в своих подчиненных. Вы перепрофилировали лесхоз...

– То есть?

– Скот держите?

– Так надо быть ослом, чтобы его не держать. Мне развернуться не дают, иначе я бы весь заказник, все пятьсот тысяч гектаров давно заполнил бы оленями. Зато мне удалось создать лисоферму...

– А вы не увиливайте. Так вот: скот вы держите, а план по госпоставкам на мясо, молоко, шерсть у вас есть?

– Понятно, что лишило вас покоя. Одна моя корова дает молока больше, чем две совхозных, вот оно мое преступление. И с овец я настригаю вдвое больше шерсти, и приплод получаю не меньше двух ягнят от овцематки. А то, что я сдаю государству и мясо, и молоко, и шерсть в два раза дешевле, чем остальные, вы это учли? И сдаю, заметьте, не в виде сырья – сдаю готовые продукты.

– Но вы еще и с пасеки своей получаете доходы, каких не бывает в совхозах, специализирующихся по меду?!

– А то как же! Сюда приплюсуйте доходы от силоса, сена, зерна...

– Но кроме шерсти основных цехов у вас есть еще и давно запрещенные мастерские! Кожевенная, пимокатная, промысловая...

– А как же иначе! И заметьте: во всех шести лесничествах есть пункты по сбору фруктов, ягод, орехов, лекарственных трав.

– Но вы вдоль трассы наставили деревянные будки, и всё лето опустошаете карманы приезжих честных граждан...

И пошло, и поехало. А суть для них в основном, в одном-единственном вопросе:

– В чей карман текут все эти доходы?

– Слава Богу, не в ваш. Вы бы всё разбазарили, всё по ветру пустили бы. Но позвольте и мне задать вам вопрос: вы знаете, что ваш район за последнюю пятилетку задолжал государству пятьдесят восемь миллионов рублей? То есть вы залезли в карман государству...

– А вы не увиливайте!

– Это вы увиливаете. Мой лесхоз государству ни копейки не должен. И я с протянутой рукой не стою. А вы... вы, набив свои карманы навозом, дерьмом, суете нос в чужой карман, набитый золотом. Не стыдно?

– А вы нас не учите жить. Лучше ответьте на такой вопрос. Это вы заставили рабочих лесхоза отказаться от двухмесячной зарплаты? Да, да, повод благородный: помощь пострадавшим от пожара. Еще вы собирали

пожертвования, иными словами, выцедили у людей полмиллиона. Это что – тоже плюс к тому золоту, что в ваших карманах?

– Ну-у, вы плохо считаете, а потому дешевите. Сумма в два-три раза больше. И потом вы не учли: я имею право – слышите вы: имею право! – использовать, как мне заблагорассудится, десять процентов своих сверхприбылей. Например, питомник в год приносит полтора миллиона дохода, а должен приносить всего миллион. Теперь посчитайте, сколько уплыло в мой недырявый карман.

– Это без нас подсчитают. Но вы нам ответьте сейчас: вы собираетесь вернуть в казну деньги?

– А зачем? Лесхозу прок от этого какой? Давайте прикинем: у вас есть деньги на капитальное строительство, на возведение жилья? А-а, нет. Вам их давали, но вы их профукали, и сидите теперь ни с чем. Вот с чего начинается долговая яма. И очковтирательство тоже начинается здесь же.

Он заставил их слушать себя. Он припер их к стене аргументами. Вы тут ищите, говорил он им, куда девались те мало-мальские жертвования, что собраны у людей? А где средства, выделенные государством, в помощь пострадавшим? Вы распылили их, вы отдали их не людям, а хозяйствам, чтоб те заткнули свои дыры. Где обещанные вами дома? Где скот, который ждут люди?.. А в Аксу за два месяца двадцать семей погорельцев вошли в новые дома. И остальные под крышей, живут в общежитиях, в коттеджах. Заметьте, бесплатно живут. А детсад? А питание? Они всем обеспечены. Добавьте к этому дешевые продукты, дешевые стройматериалы, бесплатный транспорт. Да вам такое и во сне не снилось! А откуда я беру зарплату сотне сезонных рабочих? Ведь не из вашего кармана. К тому же зарплата эта раза в два больше, чем в среднем по району. Я даю человеку возможность заработать, и хозяйство от этого не остается в накладе. Конечно, всё это куда солиднее, чем жеребята и телята, которых кое-кто из вас держит контрабандой, тайком в кустах да камышах. Вот уж тут вы размениваетесь по мелочам. И простить мне не можете, что тайное я сделал явным. Потому-то и вытащили меня на ковер...

– Итак, товарищи, перед вами невиданная в истории района афера. На одном заседании всех подробностей ее выявить невозможно. Ясно одно: Сапанину не место в партии. Дело его должно быть передано в прокуратуру. Нет возражений? Тогда все свободны! Временно свободны...

...Показался Конкай, одинокий взгорок среди унылой равнины. Как сиротская юрта вдали от людей. Ни холмика вокруг, ни овражка. Казалось, отрезали от Алтая частичку и перенесли сюда, на ровное место, чтоб нагонять печаль-тоску. У подножия той нелюдимой горы и лежит покойный отец. Даже могила его на отшибе.

Отцовское лицо ему видится как в тумане, его черты расплывчаты, они ускользают, никак не складываясь в цельный, законченный облик. Белая борода, седые волосы. Гладкое румяное лицо. Без морщин. И бархатная шапочка. Говорил он, глядя на человека в упор, и не ждал ответа. То ли в глубинах его души таилась особая сила, то ли взгляд его обладал каким-то колдовством, холодный взгляд, отчуждающий, но никто не решался смотреть ему прямо в лицо. Возможно, поэтому оно и не запомнилось Сигату. По преимуществу занимаясь делами общественными, он не вовлекал в них жену и детей. Так или иначе, а Сигат не знал отцовского тепла. И после его смерти было бесприютно: всё нажитое, деньги и скотину, он сдал заранее властям, то есть пустил на ветер, потому как власти – это кто? А горлопаны, что оставляют после себя лишь обездоленную зем-

лю. Стоит Сигату подумать об отце, и вспоминается ему вот эта одинокая могила... Есть поверье, что могила никогда не останется в одиночестве, что она обзаведется соседями. То сказано не о могиле отца. Люди отчего-то сторонились этого места, даже мертвых не решались здесь хоронить.

Он вдруг затосковал о детстве, стал думать о нем, вспоминать. И обнаружил, что даже нормального, как у всех, детства не было у него. С малых лет отвезли в русско-туземную школу и оставили в Семипалатинске. То было первое и последнее путешествие с отцом. То было первое соприкосновение с одиночеством. Незнакомый город, чужие люди... А у отца, когда они прощались, не дрогнуло лицо. Он до сих пор помнит то неизбывное горе, ту обиду, что захлестнули его, когда он бежал за пароходом – падал, вставал и снова бежал по мелкому прибрежному песку. Он плакал, он рыдал, он звал отца. Отец, конечно, слышал вопли сына, но, сохраняя невозмутимость, спустился с палубы и, не оглянувшись ни разу, ушел в каюту. Будто и в Семипалатинск-то он приезжал, чтобы выбросить за ненадобностью ему ненужную вещь. Значит, отец сознательно обрекал его на одиночество. А теперь вот и сам лежит один-одинешенек.

Подъезжая к куполу одинокого мазара, прилепившегося к склону горы, Сигат невольно подтянул поводья белого коня. Не слушая возражений стариков, верящих в приметы и утверждавших, что не положено обновлять старые могилы, Шерубай воздвиг купол: «В твою могилу я был закопан живым. Не обессудь, если вскоре тебя потесню...» Э-э, вот что надо было сказать на бюро тому деятелю с козыми и наглыми глазами: а мы построили, мол, памятник кровному врагу советской власти. Да за такое преступление мало тюрьмы, тут вышка грозит! А они, бедняги, по крупинкам собирали мусор, копейки выискивали, чтоб наскрести криминал. Жаль, надо было б им ткнуть это в их чванливую рожу. То-то они скоротились бы!..

От этой мысли он даже повеселел. Ему захотелось выкинуть какое-нибудь коленце, – ну, сделать что-то из ряда вон выходящее! Позубоскалить, что ли, над отцом в этом ночном безлюдье? Вознести его до небес, а потом поерничать, поиздеваться? Но что он знал об отце? Отец ни разу с ним не говорил о сокровенном – и вообще он с ним ни разу ни о чем не говорил. Ладно, мой белый конь! Не будем тревожить прах отца ни хулой, ни хвалой. И без того грехов у нас хватит!..

В двадцать три года он сел на коня. Не считая тех семи лет, когда он скрывался, он вот уже треть века топчет эту землю в родимом краю. И всё-то он заботится о людях и о лесе, сиюминутные заботы одолели. А вот ведь не подумал о преемнике, о том, кто потянет воз этот после него. Достойных нет, толковых нет? Что – на тебе свет белый клином сошелся? Ну да, тебя и только тебя одного провозгласить должны вождем и поднять на белой кошме!.. Скажи спасибо, коли в могилу закопают, укутав, как оно и положено, в саван... А собственно, что ты хлопчешь? Из партии тебя турнут, дело твое передадут прокурору. Ну и, естественно, посадят. Как это – не за что посадить? Коли человек делает дело, посадить всегда есть за что. Этих законников медом не корми, дай только втоптать в грязь доброе имя честного человека. Порой он страстно мечтал: вот дали б ему всю полноту власти – хотя бы на день. Он бы выправил все перекосы, все перегибы, он постарался бы эту жизнь привести в соответствие со здравым смыслом, он бы... Да ничего бы он не сделал и сделать не смог бы. Потому что нельзя поправить в одночасье то, что разрушается не день, не год, а лет уж сорок подряд.

Вспомнилось, прямо над входом в райком партии висит лозунг: «Каждый час, каждый день, каждый год и всю пятилетку – досрочно!» Интересно, как это у них согласуется с тем неприличным фактом, что они задолжали государству пятьдесят восемь миллионов рублей? Кто задолжал-то: чабан, что не смыкает глаз у отары, или тракторист, что пашет до седьмого пота, чтобы прокормить семью? Они задолжали, вот эти, которые устроили сегодня судилище на бюро. Они уверены: их власть им всё простит и в обиду не даст. Лично каждый из них ничего никому не должен, и забота у каждого одна: не лишиться бы кресла – того, что под задом. Хотя... тут же пересядет в другое, которое – как знать? – быть может, выше прежнего. А то, что нагадил на старом месте, так это уж забота того, кто это место займет, пусть он и подчищает, и ловчит... Сигат призвал в свидетели полтора миллиона защитников Ленинграда. А тем, что судили его на бюро, – что эти полтора миллиона? Пустой звук! Порой на помощь достаточно призвать одного человека, но чтобы – с волосатой лапой, тогда и разговор другой. А на кого мог опереться Сигат? Он ведь один на один со всей этой волчьей стаей. Ни друга рядом, ни ученика, и никто ему в том не повинен, и все его беды, и все несчастья сотворены его же собственными руками.

Дорогу заметало снегом, она была едва заметна, и ход саней стал тяжелее. Полозья уже не пели, а стонали навзрыд. Белый конь, тем не менее, бежал ровной рысью. Резкие окрики хозяина раззадорили коня, разгорячили. Хлопья снега, что лизали гриву коня, холку и круп, стремглав летели Сигату в лицо, белопенный мир стал рассыпаться, рушиться, и даже в небе, как в залежалом ситце, появились прорехи, небо тоже разрывалось на части, и в проране этого разорванного пространства, как бы прочерчивая траекторию ракеты, показался нос Большой Медведицы. И как ракета, он неостановимо падал вниз, взрезая и распарывая небо, разве что вместо гула ракетного двигателя выли железные полозья кошевки. Но что бы там ни было – полозья, созвездие или ракета, а в ушах Сигата стоял пронзительный вой, перед глазами было развороченное небо, и мир рушился в преисподнюю.

Вдруг тесной стала волчья шуба, она, как нечистая сила, навалилась на грудь, тяжело сдавила ее, не давая дышать. Он хотел откинуть ее, но не смог. Руки и ноги стали словно чужими, онемели. Белые валенки на ногах виднелись где-то далеко-далеко, в передке кошевки, они казались посторонней вещью, не имевшей к Сигату никакого отношения. Он попытался подтянуть их к себе и тоже не смог...

...Белая крыша особняка, надменно стоявшего как бы в стороне от всех прочих домов, окрасилась в кроваво-алый цвет. Солнце взошло над Алтаем с небывалыми радужными кольцами, оно напоминало лик больного, что мечется в горячем бреду. Новые жильцы надменного особняка, тощие детсадовские ребятишки – Маруся как раз помогала им спускаться по ступенькам на утреннюю прогулку – с удивлением смотрели на белого коня, что стоял у ворот. В кошевке лежал Сигат, безучастно глядя в небо. Из-под снежной крупки, навалившейся на лицо, торчали усы бабочкой, брови да ресницы...

– Ой, горе! Ой, люди добрые, беда-а!..

– Кто мы такие? – рыдал у могилы Мишель. – Нет, я вас спрашиваю, кто мы, ответьте?!

Он хватал мужиков за грудки, тряс их, словно хотел вытрясти ответ на этот вопрос вопросов. Придя домой, он свалился и трое суток провел в полубреду, потом уж оклемался кое-как.

И трое суток непрерывно сыпал снег, зима досрочно выполняла пятилетку, перекрывая рекорды всех прошлых лет. Тайгу замело, что говорится, по самые брови. Льды Алтая, наслоившись толстым слоем, вздулись, будто круп жирной яловой кобылы. Сине-зеленые холодные вершины и хребты врезались в этот белопенный мир, раздирая в клочья заиндевелую стену горизонта.

И мороз под стать тому снегу. Так вот плюнешь, плевков на лету замерзает. Коли сыт, затаись и носа не показывай, а тощ да голоден – беда! Мороз с потрохами проглотит. Разве что изредка проскрипят-простенают полозьями сани – ну это уж кого-то крайняя нужда выгнала из дому, а так всё живое оцепенело под белым саваном. Да еще навалившийся снег так затвердел, спрессовался, что и лопата его не берет. Мишель мучился, мучился, сгребая снег у дома, да и рукой махнул: сгребай – не сгребай, что толку? Сам по себе напал, сам по себе и растает... И без того суставы лопит, во всем теле слабость, будто после тифа поднялся. Не то что чистить снег или еще чего делать – он еле ноги таскал. И когда Жамиля в бороде и усах из льдинок, потому как мороз вмиг, тут же, у лица схватывает дыхание, пинком открыла запотевшие двери, он с надеждой посмотрел на нее, ожидая, что скажет ему идти домой. Она уже доживала девятый месяц, и он был особенно внимателен к ней, упреждал каждое ее движение, каждое желание. Это в последние три дня он вышел из формы, выпустил ее из-под контроля. И ведь не только ее.

– Про Асеке мы и забыли!

Асеке, конечно, не без странности. Следи за ним, чтоб он три раза попил чай!.. Между своими и его дверями Мешеке за эти полгода не одни башмаки, наверное, истоптал. Он уже советовал ему: ты проруби окошко из своей квартиры в нашу, чтоб чай подавали тебе прямо с доставкой на дом. А то ведь три раза на дню приходится устраивать пробежки между дверями – и в летний зной, и в зимние морозы... И лишь когда три раза долбанул в переплет рамы, в заиндевелом мутном окне показался единственный в своем роде кривой нос...

Слава Богу, люди как-никак держатся, дюжат, всё остальное приложится!..

Свою черную домбру, кузовок которой он лет десять склеивал и струны которой тоже налаживал все десять лет, Асеке заставил три дня рыдать неумолчно, стенать. Десять пальцев его не поспевали за горькими воплями черной домбры и, не сумев удержать что-то важное, теперь лежат безвольно, обессиленно, временами нянькая зеленую бутылку, эту злодейку с наклейкой, да хрустальную рюмку на тонкой ножке. Они друг другу никак не подходят – эта хрустальная тонкая рюмка и бутылка из-под заборного зеленого стекла, но щепетильный Асеке впервые, может быть, не замечает этого.

Переступив порог, он чуть не задохнулся от колкой морозной свежести. Ему показалось, что он вдохнул не прозрачный как стекло воздух, а купоросную пыль. Всё вокруг было синим. Казалось, что на горный край, засыпанный купоросом, опрокинули голубой купол. В дымке голубого миража маячил саврасый жеребец. Он возмущенно смотрел на хозяина. Три дня на его морде висела торба, от горячего дыхания она прилипла синим льдом к губам саврасого. Пока хозяин снимал торбу, саврасый с омерзением отворачивался от него. Он вообще с трудом переносил табачный дух, а здесь к синему трехдневному дыму неистребимой «Шипки» примешался убийственный запах зеленой бутылки. И плотно поджав

уши: «Укушу!» – он несколько раз стукнул копытом по яслям. Конь дал понять, что он конь.

Слава Богу, люди живы, всё остальное приложится!..

...Трое суток длились схватки у Леси, но, наконец, она отмучилась, родила пацана. Да буйного такого, он не успел родиться, и как заорет, Саркыт едва не выронила его, а Жакып – тот чуть не оглох от ора. Кто бы ни был его отец, но отряд здешних холостяков пополнился еще одной боевой единицей.

Деревянный дом, бревна которого еще не высохли от янтарной смолы, смотрел на свет божий синим окном, затянутым инеем. Посреди четырех комнат дома разлегалась громадная русская печь. Зияя пастью, она требовала дров, но Осип Митрич вот уж три дня не слезит с печи. «Язвися за ногу! – честил он сам себя. – Зачем отдал свою старую теплую конуру старухам? Теперь вот лежи посередине этой взлетной полосы. Ну это ж не печь – аэродром целый! Попробуй натопи... Эй, старик! – окликнул он сам себя. – Ты не рассыпался? Ты, случаем, не помер там?» Он задрал подол занавески на печи, глянул на свои суковатые, высохшие как ветки саксаула ноги, торчавшие из-под шубейки. Для верности ухватил себя за порезанную, в цыпках, пятку. И сам же себя поддел:

– Дурак! Не за то место хватаешь, язвися ты в душу.

Слава Богу, люди живы, все остальное приложится.

...А Бескемпир женился на Любаше. При этом обнаружилось, что у него опекунов в избытке. Значит, так: выкуп за невесту отдал Ситан, свадьбу сделал Шерубай, главным сватом был Бекет, тамадой – Асеке. Ну а приданым щеголиха-теща забила две комнаты Жакыпа. Подвыпивший Мишель в разгар свадьбы утащил за угол Абдижапара, отлупил его, и всё – драк больше не было.

Но вот, поди ж ты, хоть и женился он, и семьей обзавелся, но, видно, судьба такая выпала ему: он будто привязан к порогу Жакыпа. Вроде и в начальство вышел, пусть небольшое, но всё же! А вот лежит он каждый день и вздрагивает: неровен час, подойдет Жакып и, как бывало, пинком в зад поднимет его. Хорошо еще, что печка топится с той стороны. И столуется он там же, с Жакыпом, ждет, когда Леся еду приготовит. Только на ночь глядя и вспоминает, что он женатый, что есть у него Богом данная супруга, она вот уж три дня как уехала к родителям да заголосила там. А он, смотри-ка, за три дня и вспомнил-то о ней впервые. Верней, напомнили. Дверь заскрипела, приоткрылась, и Жакып просунул в нее ведра с водой:

– Эй, жырау! Ты вроде брал жену? Возьми водицы, в семье сгодится...

Слава Богу, люди живы, остальное приложится...

...Абдижапар, в отличие от всех, уж третий день как ожил, окрылился, будто свалил с плеч своих камень. На всё привычное смотрел он как бы другими глазами. И даже эти горы, тайга и снег воспринимались так, будто он их отродясь не видел, будто не топтал он эту землю вот уж пятьдесят пять лет кряду! То, что называли горой-великаншей, всего-то навсего вшивый пригорок, не больше сугроба после обильного снегопада. То, что считалось ширью необъятной, никакая не ширь, а просто плешь среди гор и тайги. Да и Аксу, куда, мол, не всякий конь доскачет, тоже так себе, вроде кучи навозной, оставленной на тебеневке жеребцом. И вот ради этого, чтобы все это уцелевало, чтобы гора осталась горой, а ширь – ширью, кое-кто – тьфу!.. – жизнь положил, боролся до смертного часа, а с кем боролся, и не разберешь. Абдижапар три раза обошел вокруг опустевшей конторы, и, пободав черный замок на дверях, вернулся, несоло-

но хлебавши. Будто казна его осталась за тем замком, будто его кровные денежки на веки вечные заперли на тот черный замок. Этого паршивца, этого пса прибудного Бекета в одночасье, не дав путем опомниться-собраться, вызвали в столицу. Зачем? А разное толкуют. Одни говорят, приедет он директором, место Сигат ему освободил. Другие хмыкают: каким директором! Судить его будут. За что? А Бог его знает... найдут за что. Тут вроде бы нарушения всякие, растраты... Вот это ближе к истине, считал Абдижапар. И если надо, он поможет вывести на чистую воду – хоть кого. Хоть того же Бекета. Бумагу написать недолго. Только бы попала она в нужные руки и в нужный момент.

Он со злорадством смотрел на Менсулу, что пробиралась через сугробы, одного держа на руках, другого неся в своем чреве. Когда-то ты почти хозяйкой хаживала в этот надменный особняк, теперь будешь водить туда своих сирот. Вот это хорошо. Води их, води, пока не сдохнешь, как твой ухажер! Ишь, распоясался, всех баб готов был обрюхатить, всех под себя подмять, над всеми властвовать. Ну и что получил? Горсть глины!.. Абеке даже этой горсти, что люди бросили на могилу покойному, стало жалко... Ведь эти сволочи готовы тебя ободрать, будто липку. Мишель как протянул тогда лапу за пожертвованием, так не отстал до сих пор, требует еще две тысячи... А рыдали-то, рыдали как – всем поселком рыдали, по всему Аксу стоял плач. Можно подумать, отца родного хоронили. Так ведь с горя кто-нибудь еще мог помереть. А и помер бы, туда дорога!.. Он и в самом деле сожалел, что больше никто не умер.

Слава Богу, люди живы, остальное приложится.

...И только Сигата уже ничто не заботило. Прошло три дня, как он переехал на постоянное местопребывание к одинокой могиле у подножия горы Конкай. Наверно, и вправду, могила никогда не останется в одиночестве, а рано или поздно призовет к себе соседей.

Говорят, всё в мире вечно. Если выжечь ковыль, под пеплом горный перевал останется: умрет правитель – народ останется жив. А это главное. Были бы люди живы, остальное приложится.

Эпилог

Обычно с приходом марта дул теплый ветер на Алтае. Нет нынче этого ветра, нет пока его тепла. Серый снег на склонах хребтов, как сало на ребрах, лежит и не тает. И ослепительно блестит в заоблачной выси южной стороной своей величавая Кок-Жота.

Речушка Кульмес, зимовавшая подо льдом, еще не проснулась. Типовые деревянные домики вдоль единственной улочки по-над обрывом стали как бы ниже, осели под тяжестью заснеженных крыш. А два кирпичных здания посреди райцентра выпячивались, как два ишака, причем белых, в бараньем стаде. Здания были изукрашены, словно старые девы, и уже по этому Асеке понял их особое, элитарное предназначение.

В двух километрах от селения стояла низкая пузатенькая хата аэропорта. Она привольно стояла обочь ровной проплешины в тайге, и проплешина та служила взлетной полосой. Сейчас аэропорт был опустелым и притихшим. И такой же пустынной была дорога, что вела от взлетной полосы к селу. Дорога та навевала мысли о сиротстве, об одиночестве и прочих печальных вещах. И было такое впечатление, что дорога эта никого не проводит в дальний путь и никого не встретит до окончания веков.

С южной стороны у хаты грелось на солнышке человек десять потенциальных пассажиров. Нельзя сказать, чтобы они чувствовали себя уютно и довольны были своим нечаянным соседством. Только что, хватая друг друга за ворот, не на жизнь, а на смерть дрались они у кассы за билет. А теперь вот старались поглубже надвинуть шапки на лоб, чтобы чуток глаза припрятать, чтобы не было так стыдно смотреть друг на друга. Вот и стояли они, отводя глаза в сторону: беличья шапка, сурочья ушанка, малахай из барсука, борик из суслика... Асеке свою шапчонку не смог дотянуть до кривого носа и, отвернувшись в сторону, с отсутствующим видом следил за полосатой штаниной на столбе, которая то надувалась, то опадала от малейшего дуновения ветра.

К хатенке аэропорта прилипла будка радиста, оттуда несся беспокойный свист и шип. Из будки вышло нечто квадратное на двух ногах. Оно долго зевало, глядя на дымы аула, потом изрекло:

- Черт! Жрать охота.
- Что – придет?
- Черта с два!
- Почему?
- А у синоптиков спроси.

Асеке, проводив кончиком носа все меховые шапки, что похватили свою поклажу и понеслись куда-то, остался в полном одиночестве. Из-за угла показался синий «Москвичонок», он ревел будто МАЗ. Поравнявшись с Асеке, машина тормознула. В кабине возвышался Калынхан, сложившись вчетверо. Из задней дверцы выскочила Сян:

- Дядечка, вы уезжаете?

И Асеке ответил ей витиевато и горько:

– Что делать, девочка? Я потерял лицо. На нем ничего не осталось. Кроме этого носа...

Год Зайца, год великого джута, был подобен старой ведьме, что приехала навестить отчий дом и пока не спешила покинуть Страну Беловодье...

1987

Алма-Ата – Сары-Кемер

